Иван Михайлович Сеченов
Записки русского профессора от медицины

«Записки русского профессора от медицины / Иван Сеченов.»: АСТ; Москва; 2014
ISBN 978 5 17 094508-5

Аннотация

Иван Михайлович Сеченов, смог превратить физиологию в точную науку, благодаря его исследованиям искусство диагностики болезней шагнуло далеко вперед. Однако путь успеху знаменитого врача был очень непрост. Его мать, крепостная крестьянка мечтала, что сын когда-нибудь станет профессором. Ивану пришлось самому пробиваться в жизни…

Иван Михайлович Сеченов
Записки русского профессора от медицины

Детство (1829–1843)

Дед наш, дворянин Костромской губернии, Алексей Иванович Сеченов, хотя и был зажиточный помещик, но детей учил на медные гроши, а сыновей, по господствовавшему в екатерининские времена обычаю, записывал в ранней юности в гвардейские полки. Таким образом отец мой Михаил Алексеевич, младший из сыновей, был сержантом в Преображенском полку, служил при Матушке-Екатерине и дослужился до чина секунд-майора.

В детстве мне случалось видеть бумагу (вероятно, указ об отставке отца) с размашистой подписью «Екатерина», которую отец целовал каждый раз, как бумага попадала ему в руки. По смерти Алексея Ивановича он получил в наследство небольшое имение в Костромской губернии и значительно большее в Симбирской губернии, Курмышского уезда, купленное некогда митрополитом Димитрием Сеченовым и переданное им в род. Здесь отец мой и поселился, выйдя в отставку, на удобную при крепостном праве жизнь российского помещика, и здесь же (в с. Теплом Стане) народилась вся семья его детей: 5 братьев и 3 сестры.

Я самый младший в семье. Переселение отца из Костромской губернии в Симбирскую произошло, сколько я понимаю, по той причине, что он был лошадиный охотник, и хлебное черноземное симбирское поместье давало ему возможность устроить небольшой конский завод, что было бы в Костромском имении невозможно. Как бы то ни было, но всю свою долголетнюю жизнь в деревне он интересовался одним только конским заводом, в поля не заглядывал, от коронной службы уклонялся, по дворянским выборам не служил и даже ни разу не съездил в Симбирск на дворянские выборы. Личных воспоминаний об отце у меня сохранилось очень мало – одни лишь чисто внешние отрывочные черты, потому что он умер, когда мне было 10 лет. Помню его седым стариком, в его ежедневном домашнем костюме (мягкие сапоги, черные плисовые штаны и фуфайка вроде куртки) и в венгерке по праздникам, с трубкой в зубах (помню даже мундштук его чубука); помню, как он ежедневно, после утреннего чая, ходил на конный двор и собственноручно из ларя отмеривал лошадям овес гарнцами, а затем смотрел, как выводили лошадей на водопой; помню, что еще при его жизни я выучился играть на биллиарде и немилосердно обыгрывал отца, очень плохого игрока, когда ему случалось играть со мной от скуки. На нас, детей, он мало обращал внимания; по крайней мере, я не помню ни единого случая, когда бы он приласкал меня или которую-нибудь из сестер[1]. Но с другой стороны, не помню также и случаев, чтобы он на нас сердился или кого-нибудь наказывал. Не имея образования, он, однако, сознавал его важность и внушал нам, детям, что мы должны относиться к своим учителям и учительницам, как к своим благодетелям. Гувернантка в нашем доме была равноправным членом семьи, за обедом сидела на почетном месте и называла старика отца папенькой. Впоследствии я узнал из рассказов, что он отличался бескорыстием и большой честностью; крестьян не притеснял; погорельцам строил избы; в неурожаи раздавал хлеб; но вместе с этим не брезговал пользоваться, помимо барщины, заведенным в тех местах порядком брать ежегодно от мужиков по барану с тягла, а с крестьянок – известное количество пряжи. Жил он неприхотливо и крайне дешево «на всем своем» – последнее благодаря тому, что держал большую дворню. Пока все дети были малы, он, при его умеренном образе жизни, был настолько богат, что выстроил в селе почти исключительно на свои деньги большую каменную церковь и двухэтажный деревянный дом в 20 комнат, с

[1] Дело в том, что в эти годы все старшие братья были уже вне дома и в деревне оставались со стариками только сестры да я.

небольшим садом по заднему фасаду.

Моя милая, добрая, умная мать была красивая в молодости крестьянка, хотя в ее крови, по преданию, была через прабабку примесь калмыцкой крови[2]. Перед женитьбой отец отправил ее в какой-то женский Суздальский монастырь для обучения грамоте и женским рукоделиям. На ее руках была обычная половина домового хозяйства, но в семье, при жизни отца, голос ее слышался очень редко. К тому же и она не была ласкова к детям; поэтому я узнал ее и полюбил уже в зрелом возрасте, когда по выводе в отставку из военной службы прожил более полугода у нее в деревне. В детстве же, больше отца и матери, я любил мою милую няньку Настеньку, которую по ее летам и положению в доме вся прислуга величала полным именем Настасьи Яковлевны. Она меня ласкала, водила гулять, сберегала для меня от обеда лакомства, брала мою сторону в пререканиях с сестрами и пленяла, вероятно, больше всего сказками, на которые была большая мастерица. Ложась спать, я из-за сказок нередко переселялся к ней на постель, и когда случалось, что мешал ей спать, требуя повторения рассказов, она – это она рассказывала мне сама, когда я был отставным офицером – начинала сказку о том, как некий царь, задумав выстроить костяной дворец, велел со всего царства собрать кости и положить их для размочки в воду. С этими словами она умолкала, а когда я спрашивал, что же дальше, то получал в ответ: «Рассказывать, батюшка, нечего – кости еще мокнут, не размокли», чем я, по ее словам, и удовлетворялся.

Семья наша, по возрастам детей, распалась на три группы. Два старших брата и старшая сестра, погодки Алексей, Александр и Анна, выбыли из семьи, когда я еще не родился. Братья кончили курс в Демидовском лицее, а сестра – в пансионе. Братьев отец, как военный человек и лошадиный охотник, пустил в гусары; а сестру, по окончании ученья, вернул домой, где она и стала обучать третью группу, двух меньших сестер, Варвару и Серафиму, и меня грамоте. В это время два средних брата, Рафаил и Андрей, учились в нашем уездном городе и оттуда поступили в Казанскую гимназию. Таким образом, все свое детство я рос в деревне товарищем двух младших сестер. При жизни отца была речь о том, чтобы и меня отдать в Казанскую гимназию; но по его кончине мать почему-то удержала меня до 12 лет дома (вероятно, рассчитывая приготовить меня дома не в самый низший класс); а в это время старший брат, гусар, уже офицер, познакомился в Москве с семейством, членом которого был инженер, и, узнав из его рассказов о выгодах инженерной службы и дешевизне образования, получаемого в Главном инженерном училище[3], настоял у матери, чтобы меня отдали туда. Благодаря этому я продолжал учиться в деревне до 14-го года. Обстоятельство это имело очень важное значение для моей будущности – из всех братьев я один выучился в детстве иностранным языкам. Дело в том, что родители не считали нужным обучать им дома мальчиков, полагая, что они научатся языкам в школе; а для девочек считали такое обучение необходимым. С этой целью в доме нашем, за год до смерти отца, появилась, ради сестер, смолянка, Вильгельмина Константиновна Штром, знавшая французский и немецкий языки; и меня, уже кстати, в придачу к сестрам, отдали ей на руки.

До приезда гувернантки и некоторое время после ее приезда меня обучал закону Божию, арифметике, русскому и латинскому языкам молодой священник из соседнего села Атяшева, отличавшийся, однако, не столько потребными для учительства знаниями, сколько приятной внешностью, веселым нравом и уменьем держать себя в дворянском обществе. Насколько могу припомнить его уроки, знания его в арифметике не заходили за пределы начальных действий, а в латыни учителем моим был не он, а латинская грамматика

---

[2] Из всех братьев я вышел в черную родню матери и от нее же получил тот облик, благодаря которому Мечников, возвратясь из путешествия по Ногайской степи, говорил мне, что в этих палестинах, что ни татарин – вылитый Иван Михайлович.

[3] В те времена плата за все содержание воспитанников, вместе с учением в течение 4 лет, состояла из единовременного взноса 285 руб., причем воспитанник при выходе в офицеры получал даром всю обмундировку, за исключением сюртука и шинели.

Кошанского, так как вся моя задача заключалась в заучивании преподанных в ней правил склонения и спряжения по указанию учителя: «от сих до сих». Наоборот, учение языкам у Вильгельмины Константиновны шло очень удачно благодаря тому, что именно грамматика была на заднем плане. Классные занятия по языкам заключались в том, что мы ежедневно заучивали по одному глаголу, списывая его с книги; затем делали маленькие переводы с иностранного языка на русский и наоборот. Кроме того, с первого же года она заставляла нас говорить и вне класса не иначе как на иностранных диалектах. Вильгель мина Константиновна оказала мне истинное благодеяние, научив меня обоим языкам настолько, что я не забыл их за время пребывания в инженерном училище (где обучение языкам было неважно) и мог пользоваться этими знаниями во время студенчества[4].

Учился я, должно быть, легко, потому что меня часто отпускали из класса раньше сестер и никогда не наказывали, тогда как сестра Серафима сиживала нередко (по обычаю, вынесенному Вильгельминой Константиновной из Смольного) в бумажном колпаке с надписью «за леность».

К чтению у меня с детства была большая охота, но книг для детского чтения в то время и в помине не было. Помню только Конька-Горбунка (почему-то в рукописи), сокращенного Робинзона с картинками и какое-то иллюстрированное издание Священной истории, которое мы с сестрой Серафимой иллюстрировали, покрывая лица святых красной краской, а лица библейских грешников и злодеев зеленой. Не могу не вспомнить по этому поводу, что иногда Настенька делала мне из своей косы рисовальные кисточки. Позднее, вероятно, под влиянием Александра, скудная библиотека Теплого Стана стала пополняться. Он был большой поклонник Марлинского, перешел, вероятно, поэтому тотчас по смерти отца из гусаров на Кавказ линейным казаком и считался в семье чуть не литератором, потому что посылал с Кавказа письма с литературным пошибом. Как бы то ни было, но у нас завелся Пушкин, Жуковский, Марлинский, Загоскин и Лажечников. Вероятно под влиянием разговоров в семье, любимым автором моим был Марлинский, и его я прочитал от доски до доски. Знаю наверное, что читал все повести Пушкина, знал почти наизусть одну из его сказок, читал «Руслана» и «Евгения Онегина» (издание с картинками); но стихами не восхищался и, должно быть, предпочитал Пушкину «Юрия Милославского», «Ледяной дом» и «Новика». Читалось все без руководства и указаний литературно образованного человека; поэтому перлами создания казались мне такие вещи, где героями являлись лица, совершившие какие-либо подвиги. Впрочем, вкус к таким героям сохранился у меня и в более зрелом возрасте, когда я познакомился с Вальтер Скоттом и Купером. Гоголя у нас в деревне не было; но его «Мертвые души» мне удалось слышать вскоре по их выходе в свет в чтении большого приятеля нашего дома, курмышского судьи Павла Ильича Скоробогатова. Он славился умением читать и, очевидно, любил читать в обществе.

Мальчик я был очень некрасивый, черный, вихрастый и сильно изуродованный оспой;[5] но был, должно быть, не глуп, очень весел и обладал искусством подражать походкам и голосам, чем часто потешал домашних и знакомых. Сверстников по летам мальчиков не было ни в семьях знакомых, ни в дворне; рос я всю жизнь между женщинами; поэтому не было у меня ни мальчишеских замашек, ни презрения к женскому полу; притом же был обучен правилам вежливости. На всех этих основаниях я пользовался любовью в семье и благорасположением знакомых, не исключая барынь и барышень.

Из знакомых всего ближе стояла к нам семья Бориса Сергеевича Пазухина: он – вдовец, две его дочки и воспитавшая их сестра его, Прасковья Сергеевна. Он был, сколько я знаю,

---

[4] Незнание языков у большинства наших студентов представляет большое зло. Пора бы положить ему конец, изменив способ обучению языкам в средних учебных заведениях.

[5] Родители, должно быть, не успели привить мне оспу. Она напала на меня на первом году и изуродовала меня одного из всей семьи.

единственный друг моего отца в тех краях. Видал я его редко, потому что он жил с семьей в 60 верстах от нас и наезжал в наши края один раз в год, в начале ноября, к именинам отца, и поселялся тогда с своей семьей на некоторое время в соседнем с Теплым Станом имении его сестер, чтобы полевать с борзыми в наших унылых степных палестинах[6]. Помню я его очень смутно и знаю только из рассказов родных, что это был из ряда вон добрый человек, едва ли не наиболее образованный из курмышских помещиков; не держал ни дворни, ни придворных кружевниц и вышивальщиц; не пользовался ни поборами с своих подданных, ни карательными прерогативами помещичьей власти. По его смерти Прасковья Сергеевна переехала с обеими своими племянницами на постоянное жительство в свое именье, в двух верстах от Теплого Стана, и свидания обеих семей стали очень часты. Младшая племянница, Катя, была в отца – пылкая, веселая, искренняя, немного насмешливая, но очень добрая и такая же верная в дружбе, как ее отец. Она до конца жизни оставалась самым близким другом нашей семьи. Была она года на 4 старше меня, с виду уже совсем взрослая барышня, с милым и живым лицом. Относилась ко мне, может быть памятуя отца, очень ласково; была притом единственной барышней, которую я видел часто, и я в нее влюбился. Вероятно, сознавал однако, что страсть моя покажется смешной и предмету, и окружающим; поэтому я сумел скрыть ее даже от сестер вплоть до отъезда из деревни в Петербург. Насколько сильно было это чувство, я не помню; не помню также никаких особенных эпизодов этой любви; не помню даже хорошенько лица и фигуры Кати; но чувствую и в настоящую минуту, что, будь она жива, она была бы для меня одним из самых дорогих существ на свете, более дорогим, чем второй предмет моей, уже не детской, любви.

Нельзя также не помянуть добрым словом семьи Филатовых, с некоторыми членами которой мне приходилось встречаться дружески всю жизнь до самого последнего времени.

Одна половина Теплого Стана принадлежала моему отцу, а другая более богатому, чем он, и более старому годами родоначальнику Филатовского рода Михаилу Федоровичу. Старик Филатов был садовод и пчеловод; полевым хозяйством совсем не занимался; всю весну и лето жил в саду и на пчельнике (на осень и зиму вся семья переезжала в именье Пензенской губернии); в гости никуда не ездил; в церковь, несмотря на крайнюю набожность женской половины своей семьи, никогда не ходил; и по этой ли причине или потому что управлявший именьем приказчик из дворовых был крут с подчиненными, крестьяне его недолюбливали и подчас считали чуть ли не колдуном, потому что в холеру 48-го года в народе ходил слух, что ее навеял на Теплый Стан старик Филатов: его будто бы перед ее появлением видели, как он намахивал болезнь на село руками. Познакомился я с ним, будучи уже отставным офицером, когда он от старости начинал уже приходить в детство и, вероятно, стал смешивать воображаемое с действительностью, потому что, оставаясь умным человеком, рассказывал серьезно невероятные небылицы. Интересовавшегося его пчелами соседа он уверял, например, что раз у него отроился такой огромный рой, что, привившись к стоявшей перед садовым балконом черемухе, пригнул ее ветви к земле. Узнавши, что я имею намерение изучать медицину, он рассказывал мне, что сам шел по французскому и немецкому факультету (его собственные слова) и вздумал было изучать медицину; но не мог вынести вида трупов, за что был будто бы посажен в «канцыр», так как начальство думало, что он притворяется. Помимо этих странностей, Филатов был очень умный старик, рассуждавший очень здраво о текущих событиях и лицах, относившийся не без иронии к

[6] Как ни бедна Россия живописными видами, но местность, где я провел детство, принадлежит, я думаю, к наименее живописным. Черная, почти как уголь, земля, изрезанная в пологих впадинах оврагами, без единого деревца или ручейка на версты, с единственным украшением редких рощей, виднеющихся на горизонте в виде темных четырехугольников. Эта часть Курмышского уезда густо заселена татарами и мордвой. Приходом к нашей церкви была мордовская деревня Мамлейка; и в те времена я имел случай видеть в церкви мордовок в их национальных костюмах: белая длинная рубашка, выложенная на груди красным шнурком, бахромистый пояс под брюхо; ожерелье из белых ракушек и очень уродливый головной убор, в виде наклоненного вперед полуцилиндра с подвешенными к его основанию пробуравленными серебряными пятачками. Теперь тамошняя мордва слилась с русскими до неузнаваемости.

властям и вместе с тем очень приветливый и галантерейный с дамами хозяин. Очень люблю и уважаю живущую по сие время, некогда пылкую и самоотверженную дочь его Наталью Ми хай лов ну, воспитавшую племянника своего Нила Федоровича Филатова, одного из лучших профессоров Московского университета, к сожалению, так рано умершего.

На свете рядом с добром всегда живет зло; и рядом с описанными добрыми людьми, в 7 верстах от Теплого Стана жила бездетная вдовая старуха А. П. П., бывшая в молодости, по ее собственным славам, большим аспидом. В мое детство она была, впрочем, в периоде замаливания грехов; и я ясно помню, с какими горючими слезами она молилась по воскресеньям в нашей церкви, куда была прихожанкой. Предание говорит, что, сокрушаясь о грехах и своей неисправимости, она пыталась было извести себя, но выбрала, как оказалось, не совсем подходящее средство. Думая, что человек живет хлебом и что без хлеба вредна всякая вообще пища, особенно же жирная, она вздумала уморить себя едой без хлеба; но не уморила, а растолстела и, видя в этом наказание Божие за грех задуманного самоубийства, смирилась и стала замаливать грехи молитвой и добрыми делами. С этой целью она воспитала прежде всего дочь приходившегося ей как-то сродни священника, выдала ее замуж за Павла Ильича Скоробогатова, а по ее смерти воспитывала трех сыновей от этого брака. Замаливая таким образом грехи молодости, она не считала однако грехом держать в ежовых рукавицах всех своих подданных, в особенности же сенных девушек. Надсмотрщицей за ними у нее была экономка Екатерина Петровна Барткевич, вооруженная на сей предмет плеткой. Мужскому полу тоже не было спуска, благо стан и становой пристав были под рукой. Как могли уживаться в одном и том же человеке такое отношение к подчиненным и истинное сокрушение о грехах, понять в наше время очень трудно; но в те времена такое уживание никого не коробило – А. П. считали самовластной, подчас до самодурства, но вместе с тем истинной христианкой[7]. Старики наши водили с ней дружбу; она была даже крестной матерью моей старшей сестры и в мое детство обедала у нас чуть не каждое воскресенье, отстояв обедню в нашей церкви.

Была, наконец, в 30 верстах от нас и такая особа (Ф. Г. 3.), которая довела своих подданных до того, что ее удушили.

Да, это было время отживших свой век в наших захолустьях современников Каратаева.

Закончу свои детские воспоминания описанием следующего эпизода, которому был очевидцем. Осенью, в молотьбу, одному нашему крестьянину Петру Бузино попало в ухо ячменное зерно и застряло в ушном проходе, должно быть поперек, так глубоко, что после тщетных домашних усилий он обратился за помощью к случившемуся у нас как раз в это время курмышскому уездному врачу Николаю Васильевичу Доброхотову. Набора с собою у доктора не было, и, по его указанию, наш жестянник согнул ему из печной проволоки щипчики с плоско расплющенными концами. Как ни старался бедный доктор вытащить зерно таким инструментом, но, конечно, не мог и придумал следующее: свернул бумажную ленту в трубку, один конец ее вставил пациенту в ухо, а другой зажег.

Предоставляю судить читателю, насколько процветала в те времена хирургическая помощь в нашем уезде; но не могу не прибавить, что бедному Борису Сергеевичу Пазухину пришлось умереть без нее в страшных мучениях от камня в пузыре.

В 1843 г. старший брат был в образцовом полку в Павловске и списался с матерью, что нашел военного инженера, взявшегося приготовить меня в полгода к поступлению в инженерное училище за 1800 р. ассигнациями. Поэтому в начале 43-го года я был отправлен в Петербург вместе с нашей гувернанткой В. К. – она к своей матери, а я к капитану Костомарову на полгода невыразимо однообразной, скучной, серенькой жизни. Дело в том, что учеников кроме меня у моего нового наставника не было; человек он был не

---

[7] Не могу не вспомнить по этому поводу моей двоюродной сестры, Анны Дмитриевны Тухачевской, которую я время от времени посещал в Москве в 50-х годах, будучи студентом. Это была пожилая и настолько благочестивая дама, что жила в Никитском монастыре, нанимая там квартиру. Она была неукоснительно убеждена в том, что мы, дворяне, происходим от Иафета, а крепостные – от Хама.

экспансивный – за все время учения я не слышал от него ни единого ласкового слова, но и ни единого выговора – и большую часть дня он был вне дома, оставляя меня в обществе денщика и его супруги на безвыходное сиденье. Трудно поверить, что в течение всего полугода (исключая воскресенье и праздник) я выходил на улицу только раз в неделю, вечером, в соседнюю баню; и один только раз он сводил меня сам на Невский к Доминику и угостил там расстегаем. День наш начинался в столовой чаем, за которым мы оба сидели большей частью молча; затем он давал в течение часа урок из арифметики, которую я у него действительно постиг. После этого он уходил на службу; а меня в полдень кормили завтраком. В 3 часа мы садились с капитаном за обед – стряпню жены денщика. Каковы были обеды, не помню; но из них я вынес впечатление, что патрон мой постоянно страдал отсутствием аппетита, потому что еле притрагивался к кушаньям.

После обеда он удалялся в свой кабинет, куда я ни разу вхож не был, а часов в 5 уходил до вечернего чая, служившего нам ужином. В 9 часов из стоявшего в моей комнате шкафа-кровати выдвигалась постель, и что происходило затем в доме – не знаю. Верно одно: гостей у капитана не бывало, и мое лежание в постели всегда окружала невозмутимая тишина. Два или три раза в неделю приходил, якобы учить меня русскому и французскому языкам, молодой подпоручик, кораблестроительный инженер с отвратительным французским выговором. Обучение заключалось в том, что он диктовал из книги и поправлял ошибки да давал по временам заучивать стихи. В памяти из его уроков у меня остались только: весь «Мельник» Пушкина, отрывок из «Ермака» Рылеева и отрывок из пушкинского перевода стихов Мицкевича «Три у Будрыса сына»:

Нет на свете царицы краше польской девицы:
Весела – что котенок у печки
И как роза румяна, а бела – что сметана;
Очи светятся, будто две свечки.

Изучение грамматики, истории и географии по принятым тогда для поступления в училище учебникам предоставлялось моему собственному усмотрению, с какой целью учебники эти всегда находились в моей комнате. Пользовался ли я, однако, ими, меня не спрашивали.

Не менее странен был и вступительный экзамен в училище. Происходил он в начале августа и длился, кажется, всего один день. Ясно помню, что лично для меня экзамен состоял в решении задач (рядом со мной сидел мальчик, желавший, чтобы я ему помог) и в письменных ответах по русскому и французскому языкам. Из истории же и географии никакого экзамена мне не было. Возможно, что аспирантам, приготовлявшимся к поступлению в существовавших тогда приготовительных пансионах, содержимым инженерами, делались при экзамене льготы; но возможно и то, что знаниям по истории и географии не придавалось значения.

Замечательно, что на душе у меня не было никакого неприязненного чувства к капитану Костомарову. На жизнь у него я не жаловался ни брату, ни моей прежней гувернантке, в семью которой ходил по воскресеньям и праздникам не только в эти полгода, но и во все время пребывания в инженерном училище, так как других знакомых, кроме этой семьи, в Петербурге у меня не было. Не зная городских нравов и не живя до тех пор между чужими, я думал, должно быть, что иной формы существования на чужбине и быть не может.

Семья Вильгельмины Константиновны состояла из ее младшей сестры Олимпиады, уже взрослой девицы, и прелестнейшей старушки матери, Эмилии Адольфовны, немки из Франкфурта-на-Одере, плохо говорившей по-русски и жившей на маленькую пенсию покойного мужа (эстляндца или лифляндца, капитана русской службы) и частную пенсию от графа Адлерберга, министра двора. Нет сомнения, что мать платила им и за меня, потому что они возили меня в театр, давали денег на извозчиков и позднее, когда я выучился курить, на

табак.[8] В праздники и по воскресеньям кроме меня к ним ходили два кадета, братья Михайловские. Старший из них, Николай Андреевич, будущий муж моей старшей сестры, был тогда на выпуске и учился так хорошо, что вышел офицером в гвардию, в Финляндский полк.

В маленькой гостиной семьи Штром очень часто происходили чтения вслух и разговоры по поводу прочитанного. Здесь я познакомился с русской литературой гораздо больше, чем в инженерном училище, где преподавателем словесности был старик Плаксин, не признававший Гоголя и ставивший выше всех Державина и Крылова. Для скромной семьи Штром, не имевшей никаких знакомых, кроме, нас, трех мальчиков, воскресенья и праздники были, очевидно, праздничными днями. Эмилия Адольфовна самолично отправлялась тогда с кульком на Сенную за провизией, сама стряпала, и ее вкусные обеды, суп с фрикадельками, пирог с сигом и жареные рябчики, не в укор будь сказано костомаровским обедам, я не забыл и вспоминаю по сие время с большим удовольствием.

В Инженерном училище (1843–1848)

Школу военных инженеров, под именем Главного инженерного училища, составляли 4 класса младших воспитанников, называвшихся кондукторами, и 2 офицерских класса. Учение в кондукторских продолжалось 4 года, и затем воспитанники производились в офицеры, с переходом в нижний офицерский класс. Кондукторов полагалось по штату 325 человек, и они образовывали так называемую кондукторскую роту, с ротным командиром (полковником) во главе и его 5 или 6 помощниками (обыкновенно из саперных офицеров) в роли надзирателей, дежуривших по очереди. При поступлении в училище мы тотчас же присягали и считались по закону юнкерами, состоящими на государственной службе, поэтому были избавлены от практиковавшихся тогда в кадетских корпусах телесных наказаний. Но помимо этого весь внешний военный режим был тот же, что в корпусах; первые два года воспитанники считались рядовыми; на 3-й год отличавшихся поведением и фронтовыми успехами награждали чином ефрейтора, с соответствующей нашивкой на погоне; а в старшем классе наиболее достойный из всех делался фельдфебелем; за ним, по нисходящему порядку достоинств, двое или трое производились в старшие – и большее число в младшие унтер-офицеры.

Должность фельдфебеля заключалась в том, что, когда воспитанники строились в колонну, чтобы идти на завтрак, на обед или в классы, он один оставался вне строя и командовал колонне идти налево или направо. Сверх того ежедневно по утрам ходил в квартиру ротного командира доносить, что в роте все благополучно. При этом он мог бы, конечно, доносить и многое другое; но в мое время наш командир, барон Розен, был такой честный человек, что едва ли стал бы терпеть доносы товарища на товарищей. Должность же унтер-офицеров была еще более легкая – они поочередно дежурили по роте и должны были только вставать утром раньше других, чтобы будить лентяев на вставанье. Впрочем, в молодости спится, как известно, очень крепко, а вставать приходилось по барабану в 5½ часов утра, потому что в 7 часов кончался утренний завтрак[9], после которого шли тотчас же в классы. Учебной частью заведовал инспектор (полковник), а превыше всех стоял начальник Главного инженерного училища (в первый год моего пребывания – генерал Шарнгорст).

---

[8] Вплоть до выхода в офицеры денег у меня в кармане никогда не было ни копейки.

[9] Кормили нас вообще не дурно, особенно по вторникам, где за обедом являлся сносный пирог с вареньем – подарок инженерному училищу из собственных средств великого князя Михаила Павловича; но за завтраком давали бурду, которой я не мог пить за все 4 года, – жиденький ячменный кофе, сваренный с молоком на патоке.

Училище наше помещалось в главном корпусе бывшего дворца императора Павла (называвшегося поэтому Инженерным замком), по фасаду, обращенному к Летнему саду. Нижний этаж занимали спальни кондукторской роты, канцелярия, цейхгауз, рекреационная зала и квартира ротного командира; а в верхнем этаже молельная, комнаты кондукторских и офицерских классов. Помещение было, конечно, роскошное, комнаты высокие и светлые. На радость курильщиков, в печах очень высокого здания были такие сильные тяги, что куренье через вьюшки не оставляло после себя никаких следов. Куренье было запрещено, но не строго преследовалось, нужно было только не попадаться на месте преступления и не дымить в комнате. Гимнастики не существовало; но пробегаться в свободные часы было где: из рекреационной залы был выход на довольно большой плац (по всему фасаду, обращенному к Летнему саду), куда нас пускали во все времена года. Во времена Николая нас, военных, приучали к холоду; единственным теплым платьем даже в 25-градусные морозы были ничем не подбитые шинели из темно-серого сукна (значительно более тонкое, чем солдатское), наушники на ушах и жесткие, набеленные мелом варежки на руках. В шинелях мы щеголяли только выходя из училища; в стенах же его и зимой, во время игр на плацу, одеяние наше состояло из штанов серо-голубоватого цвета и куртки с погонами и стоячим воротником.

При училище была церковь и свой священник, с магистерским крестом, Розанов. Помню, что по вечерам он приходил иногда в наши дортуары для религиозных, ни для кого, впрочем, не обязательных собеседований; но учил ли он нас закону Божию, не помню, хотя утверждать противное не смею. Классы нумеровались снизу вверх: 4-й, 3-й, 2-й и 1-й. Математике обучали недурно: в низшем классе – арифметика; в следующем алгебра, геометрия и тригонометрия (сферической не учили); во 2-м классе аналитическая геометрия (без высшего анализа) и начертательная, со включением перспективы, теории теней и теории сводов; в старшем классе дифференциальное исчисление; в нижнем офицерском классе интегральное исчисление (преподаватель Остроградский)[10] и аналитическая механика. Стоит еще помянуть добрым словом уроки истории архитектуры, казавшиеся мне очень красивыми; красивое изложение новой истории преподавателем Шакеевым и истории французской литературы в старшем классе с очень хорошим учителем Cournand. Обучение главному предмету – фортификации – длилось все шесть лет, начинаясь с описания искусства вязать туры и фашины. Но к инженерному искусству, со всеми его аксессуарами, черченьями разного рода, душа у меня не лежала – моим любимым предметом в старшем классе была физика; и в доказательство того, что я занимался ею успешно, может служить то обстоятельство, что на публичном выпускном экзамене, происходившем в присутствии многих генералов, учитель физики выбрал для ответа меня. Помню, что он только что получил перед этим из Германии электромагнитную машину Штерера, обучал меня у себя на квартире ее управлению, и на экзамене я продуцировал все ее действия. Каждый из нас знал наперед, что будет отвечать, но с виду экзамен происходил по билетам, которые лежали на столе перед начальником инженеров, и экзаменующийся, после низкого поклона важному человеку, брал билет на его глазах из кучки. В нижнем офицерском классе любовь моя перешла на химию (читалась только неорганическая). Математика мне давалась, и, попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба, как увидим, решила иначе.

Распорядок дней был следующий. С 7 до 8 утра приготовительный класс без учителя; с 8 до 12 ч. – уроки; с 12 до 2 – рекреация. У кого были деньги, могли в эти часы покупать на свой счет в столовой булки с маслом и зеленым сыром и сладкие пирожки; а для неимущих выставлялась большая корзина с ломтями черного хлеба. Многие из нас, неимущих, зимой,

---

[10] В тот год, как я его слушал, читал он очень мало; время проходило большей частью в решении задач и в разговорах о походах Юлия Цезаря, Ганнибала и Наполеона. Нас, как математиков, он ценил, шутя, очень низко; по его словам, первый математик – Бог, потом великий Эйлер: ему он ставил высший бал – 12, себе – 9, а всем нам – «нуль».

когда топились печи, обращали эти ломти в сухари. Сушильнями служили печные трубы, и к вечеру лакомство было готово, чтобы хрустеть на зубах. В 2 часа был обед с пением молитв при начале и конце; с 3 до 6 часов после обеда опять классы. Стало быть, ежедневно 7 часов учения, за исключением пятницы, когда послеобеденные уроки продолжались только до 4 с половиной часов, так как в следующие за тем полтора часа производилось ротное учение, т. е. маршировка, различные построения по сигналам и ружейные приемы (ружья в мое время были еще кремневые). Вечером, до ужина, занятия были различные: в понедельник фехтование для желающих; вторник – обязательные для всех танцы; среда – баня; четверг и пятница – весь вечер свободный; а в субботу в 6 отпуск по домам до 9 вечера воскресенья. Ужинали в 8 и в 9 – спать. Кто хотел заниматься после ужина, тому давалась сальная свечка, и заниматься можно было в умывальной хоть всю ночь. Кто предпочитал заниматься ранним утром, тот выкладывал на столик подле своей кровати число бумажек, соответствующее часу, когда его имел разбудить дежурный служитель. Бывали столики даже с двумя бумажками; но я не был в числе таких тружеников.

Подробностей моего первого знакомства с товарищами я не помню. Знаю только, что мне дали прозвище «деряба», но не обижали, хотя в училище были охотники мучить новичков, и существовал даже дикий обычай наказывать их за провинности, конечно, пустые или даже мнимые, плеткой, против которого не протестовало почему-то и начальство, хотя не могло не знать об этой скверности. В мое время артистами по части плеточной расправы были Стратанович и Маркелов – выписываю нарочно их фамилии. Благодарю Бога, он избавил меня от рук этих дикарей и, вопреки своей фамилии, сечен я в жизни не был. Из событий первого года больше всего в памяти осталась болезнь заушница (свинка), обучение фронту и бунт против начальства. Болезнь эту я помню из-за способов лечения оной училищным докто ром, стариком Волькенштейном: он очистил меня сначала рвотным, а потом закатил такую дозу слабительного, что со мной сделался в лазаретном клозете обморок, всполошивший находившегося поблизости служителя, вероятно слышавшего шум моего падения. Не знаю, был ли я обязан этому эмпирическому лечению благоприятным исходом болезни, но опухоль разрешилась без перехода в нагноение.

Фронту учили новичков заслуженные унтер-офицеры гвардейского саперного батальона. Первые шаги в этой науке заключались в обучении умению стоять «навытяжку» и «вольно»; затем в умении плавно подымать то правую, то левую ногу для маршировки тихим шагом. Подобно тому, как все вообще военные экзерциции производятся с короткими перерывами для отдыха, так и наши саперы давали нам время от времени «вольно»; и в один из таких промежутков учитель нашей партии, Кузьмин, рассказал нам в поучение, как учил их самих в Царском Селе фронтовому искусству теперешний император Николай Павлович, тогда великий князь. Он раздевал их в манеже догола, чтобы видеть настоящую выправку, и требовал от начальства, чтобы оно не давало солдатам спать скрючившись. Если начальство замечало такого, то разбудит и выбранит; раз, другой спустит, а потом – не прогневайся.

Бунт произошел по следующему случаю. Когда мы поступили в училище, в низшем классе оставался на другой год князь Е., мальчик не глупый, но отличавшийся непобедимой леностью.[11] До нас дошли слухи, что родители его обратились к начальству с просьбой употребить для его исправления розги, что будто бы и было исполнено. Этот противозаконный поступок взволновал старших воспитанников, и решено было выразить протест главному начальнику, генералу Шарнгорсту: ответить всеобщим молчанием на его обычное приветствие при первой же встрече, что и было пунктуально исполнено. За это фельдфебель Зейме был лишен своего звания; всех нас осудили на сидение по воскресеньям

---

[11] Уловки, к которым он прибегал на экзамене из математики, достойны описания: на все трудные для него билеты он писал мельчайшим почерком на отдельных бумажках нужные по вопросу выкладки в том порядке, в каком придется писать их на доске, и прятал эти ответы на своей особе в следующем порядке: несколько билетов за галстук, 7 билетов в промежутке между пуговицами курточки, остальные в карманах штанов. Получив билет со стола экзаменатора, он уже знал по номеру, где отыскать ответ, и списывал его, стоя у доски.

и праздникам в училище в течение года, и вскоре затем генерал Шарнгорст удалился, и на его место был назначен Ламновский. Затевая этот протест, нашим старшим, терпевшим в своей среде плеточную институцию, следовало бы иметь в виду, что у них самих рыльце в пуху, или по крайней мере отменить эту гадость после протеста, но этого не случилось.

К весне 1844 г. мы, новички, окончив курс ученья у саперов, поступили в ротный строй; и как только наступило тепло, началось веселое время приготовления к майскому параду. У себя дома ученья производились тогда чуть не ежедневно на открытом воздухе, и два раза назначались репетиции парада на плацу 1-го кадетского корпуса, вследствие чего мы имели не малое удовольствие проходить строем по Невскому на Васильевский остров. Здесь, кроме всех военно-учебных заведений, были собраны моряки, путейцы, горные и лесные – все, как следует, в военных мундирах с ружьями. Первый смотр делал генерал Шлиппенбах, а второй – великий князь Михаил Павлович, имевший терпенье проходить пешком по фронту всех заведений и осматривать вблизи наш внешний вид. Это я хорошо помню по следующему случаю: проходя по нашему фронту, он ткнул пальцем в грудь воспитанника Попова со словами «уберите мне в заднюю шеренгу эту угрюмую физиономию». День майского парада был, конечно, еще более радостный: до сих пор помню чувство какого-то воодушевленного старания отличиться, когда рота наша проходила мимо государя. Притом же, после парада, нас кормили парадным обедом и распускали по домам. Еще веселее был поход в Петергофский лагерь. После раннего обеда мы шли в походной форме, с ранцами за плечами, к Нарвской заставе. В 4 часа приезжал туда император и пропускал мимо себя все отправляющиеся в лагерь военно-учебные заведения. В Красном Кабачке был привал, где нас поили чаем и каждому давали булку с маслом и телятиной. С этого привала мы, инженеры, проходили на ночевку в какую-то чухонскую деревню, спали в избах на соломе и вставали утром очень рано, чтобы иметь до похода в Петергоф возможность покататься верхом на чухонских лошадках (благо хозяева брали с нас недорого). Я страстно любил верховую езду и катался на чухонках с невыразимым наслаждением. При входе в Петергоф нас опять встречал и пропускал мимо себя император.

Лагерное поле в Петергофе представляло обширное, совершенно ровное луговое пространство. Вдоль всего фронта лагеря шла дорога, по которой проезжали, и довольно часто, только лица императорской фамилии. За этой дорогой, параллельно ей, шла так называемая линейка со значками заведений, при которых дежурили поочередно все воспитанники и вызывали всех «на линейку», как только по лагерной дороге проезжал кто-либо из царского семейства. Выбежав, мы строились и отвечали дружным «здравия желаем» даже маленьким членам фамилии, едва ли умевшим здороваться с нами.

В лагере нас баловали. Ученьями не мучили, так что свободного времени было вдоволь; кормили лучше, чем в городе, водили часто на взморье купаться; в будни позволяли ходить в гости к лагерным товарищам (мы водили дружбу только с артиллеристами); а по воскресеньям и праздникам пускали гулять маленькими партиями в дворцовый сад и даже в Александрию, где жила царская фамилия. Ежегодно, в какой-то важный царский день, была знаменитая иллюминация дворцовых садов; тогда водили нас гулять по залитым огнями аллеям большими группами офицеры. Кажется, в первый же год моей лагерной жизни в Петергофе с большим торжеством праздновалась свадьба великой княжны Ольги Николаевны. В одну из прогулок во время этих торжеств я помню пруд, по которому разъезжали изукрашенные огнями лодки с певцами, и лужайки, усеянные разноцветными огнями. Жаль одного: при лагере не было библиотеки, из которой воспитанники могли бы получать книги для чтения; а свободного времени было очень много, и девать его было некуда. Впрочем, и в городе дело обстояло в этом отношении не лучше: училищная библиотека, конечно, существовала, но мы не знали даже, где она помещается. Уроки нам диктовали, и мы экзаменовались по запискам.

Учился я недурно, по фронту преуспевал; поэтому с переходом во 2-й класс получил даже на погоны ефрейторскую нашивку; но в том же году совершил два проступка – один глупо-ребяческий, а другой, неприглядный по выполнению, хотя и вышедший из

побуждений, казавшихся мне хорошими.

Не знаю почему, но штатские учителя немецкого языка не пользовались у нас со стороны воспитанников уважением, особенно же учитель в 3-м классе Миллер, не умевший держать себя с достоинством и трепетавший перед начальством. Особенно боялся он великого князя Михаила Павловича; и раз в приезд последнего мы были свидетелями, как бедный Миллер, бледный и растерянный, чуть не дрожал от страха. Отсюда возник мой первый глупый поступок. Раз как-то, в час, когда Миллер учительствовал в 3-м классе, а нашем 2-м (комнаты были рядом) учителя не было, и между 16-летними разумниками возникла мысль попугать Миллера. Я взялся изобразить великого князя; на лицо мне надели почему-то маску с прорезями для глаз и носа; отворили с шумом и словами «идет великий князь» дверь в 3-й класс, и я вошел туда при громком смехе товарищей. На шум тотчас же прибежал дежурный офицер, сорвал с меня маску и отвел раба божьего в карцер на хлеб и на воду. Карцер у нас был отвратительный – темный, отгороженный от так называемой дежурной комнаты угол, без всякой мебели и даже без постели. Арестанта одевали в старые затасканные штаны и куртку и давали только подушку, так что спать приходилось на голом полу. Хорошо еще, что под дверью была щель, через которую товарищи приносили заключенному съестное подаяние, иначе сидение в таком месте в течение нескольких дней было действительно жестоким наказанием. Долго ли я сидел, не помню; но вышел оттуда уже без ефрейторских нашивок – разжалованным.

Теперь о другом деянии. В закрытых заведениях, вследствие ежедневного соприкосновения с начальством, воспитанники имеют возможность подмечать в начальниках выдающиеся черты характера да многое могут и слышать о них вне стен заведения в своей семье или от знакомых. Отсюда расположение к одним и нелюбовь к другим. Так, общим любимцем был добрый, шутливо повелительный полковник Скалон, приходивший на дежурство в мундире гвардейских саперов с бархатными отворотами. Его встречали не иначе, как целуя в бархатную грудь. Ротного командира, барона Розена, несмотря на его несколько суровый вид и неласковость, любили, уважали и знали, что он прямой, честный человек, а нового главного начальника из-за манеры его обращения и слухов извне невзлюбили. В придачу к этому, с первого же года его поступления, стали ходить между нами слухи, что он ввел шпионство в училище, даже указывали на воспитанника, занимавшегося этим ремеслом. Нравиться такое нововведение, конечно, не могло, и я решился, не говоря никому из товарищей ни слова, написать генералу в один из отпусков чужой рукою письмо, в котором выставлялась неблаговидность учреждения и предостережение в следующей, как я помню, форме: «Смотрите, Ваше превосходительство, не все коту масленица, придет и Великий пост». Храбрости подписать под письмом свое имя, однако, не хватило. Я молчал очень долго, но наконец не вытерпел – вероятно, считал свой храбрый поступок из-за угла подвигом – захотел поделиться славой подвига с товарищем. Как случилось, что таким товарищем оказался воспитанник Б., с которым я не водил особенной дружбы, не помню; но знаю достоверно, что секрет открыт был только ему. Тем не менее вскоре после моей беседы с Б. на меня налетел врасплох называвшийся «гвоздем» дежурный офицер-надзиратель со словами: «Так вот какие вы пишете пасквили на начальство». Издавна приготовившийся к отпору на такое нападение, я не смутился, посмотрел на него недоумевающими глазами и ответил, что этим не занимался. Много ли мало ли времени спустя, барон Розен призывает меня к себе на квартиру и говорит: «Что вы, сударь, наделали, вы написали ругательное письмо начальнику». Барон не мог, конечно, не допросить меня, раз ему донесено было надзирателем по начальству; но я уверен, он был очень рад, когда я спокойно отклонил это обвинение, потому что не стал допытываться и тотчас же отпустил меня. С тех пор на несколько месяцев история канула в воду. Великим постом прихожу на исповедь к нашему священнику Розанову, и он спрашивает меня между прочим, писал ли я письмо начальнику. – «Да». – На вопрос, что было написано в письме, я прочитал ему наизусть все от слова до слова. После причастия нас обыкновенно собирали в рекреационной зале; приходил генерал и поздравлял нас с принятием Св. тайн. На этот раз,

после поздравления, он вызывает меня перед фронт – выхожу и думаю: пропал – вместо того слышу следующие слова: «Ради торжественного для вас дня прощаю вам проступок, из-за которого вы лишились ефрейторского звания, и возвращаю вам это звание». Что это такое было, отпущение мне более тяжелого моего греха или прикрытие греха священника, сказать не могу, но, думаю, скорее последнее, судя по тому, что в нашем генерале не было джентльменства и впоследствии.

В старшем классе я был сделан унтер-офицером (т. е. получил по военным обычаям род чина, дающего некоторую власть над младшими воспитанниками) и опять провинился перед генералом. В этом году произошла по какой-то причине драка между воспитанниками 2-го и 3-го классов, и в наказание за это их лишили права пить по вечерам в столовой собственный чай. Мера эта, конечно, строго соблюдалась дежурными офицерами, но от нее ускользал сын начальника, бывший тогда в 3-м классе. С 6–7 ч. вечера он, и до этой истории, постоянно уходил на квартиру родителей, где, конечно, получал какое-нибудь угощение, и сохранил эту привычку после истории, когда его товарищи были осуждены по вечерам на ломти черного хлеба. Нам, старшим, это обстоятельство показалось делом несправедливым, и я, от лица старшего класса, запретил воспитаннику Ламновскому ходить по вечерам домой к отцу. За это никаких непосредственных мероприятий против меня не последовало, но генерал не забыл этого происшествия. Учился я недурно и в этом выпускном классе унтер-офицер был исправный, ни в каких других проступках замечен не был и даже пользовался некоторым расположением барона Розена.

В лагерный сбор этого года нашему хорошему честному барону Розену пришлось испытать большое горе. Задолго до лагерного сбора нашему училищу дали впервые небольшого размера понтоны, с прочими мостовыми принадлежностями, чтобы обучить нас собиранию понтонов и наводке моста. Собиранию понтонов мы выучились еще в городе; а в наводке моста упражнялись в Петергофе на речке узенькой и глубокой, протекавшей по Английскому саду. Когда же мы преуспели и в последнем искусстве, то стали ждать царского смотра понтонному ученью. Беда случилась именно на таком смотру; но для того, чтобы понять, как она произошла, необходимо маленькое отступление.

Для фронтового ученья нас строили в 3 шеренги следующим образом: в передней ставили высоких ростом и в то же время хорошо умеющих делать ружейные приемы, так как эта шеренга была на виду; самых маленьких прятали в среднюю шеренгу; а в заднюю, наиболее закрытую от наблюдателя, попадали из крупных по росту самые плохие фронтовики. Кроме того, ружья у нас были не для стрельбы,[12] а только для вида, плохие и у многих обывателей задней шеренги с заржавленными, туго вынимавшимися шомполами, что при фронтовом ученье не составляло, однако, существенного изъяна, потому что обладателям таких ружей вынимать шомполов не было надобности – нужно было только, чтобы руки задней шеренги поднимались и опускались в такт с руками передней при мнимом заряжении. При понтонном же ученье строй был иной, по росту: в переднюю самые большие, следующие за ними в заднюю, и самые малые в среднюю. Стало быть, тогда в переднюю шеренгу попадали многие из обычных обитателей задней.

Итак, в один прекрасный и в высшей степени неудобный для училища день, притом не загодя, как бы следовало, а за 3–4 часа до смотра, пришел приказ, что в 6 вечера государь будет делать смотр понтонного ученья. День был неудобен тем, что барон Розен был как раз в этот день в отпуску в Петербурге и вернулся в лагерь уже после того, как все было кончено. Пришли мы с фурами к речке, конечно с ружьями, и построились для понтонного ученья. В 6 ч. приехал государь один, без свиты, встал в 25 шагах перед нашей небольшой кучкой (всего 40 человек в ряд) и скомандовал: «Ружейные приемы!» В нескольких шагах от

---

[12] Во всех военно-учебных заведениях фронтовые ружья служили лишь для того, чтобы обучать внешнему уменью обращаться с оружием; и во время фронтового учения мы делали только вид, что заряжаем ружье и палим. Для действительного стреляния назначались отдельные часы, вне фронтового учения: стреляли поодиночке друг за другом в цель.

царя струсили бы, я думаю, закаленные в фронтовом искусстве субъекты, а тут перед его глазами стояло много таких, которые привыкли прятаться в задних рядах от глаз простого начальства. Струсил, конечно, и командовавший нами, за отсутствием полковника, штабс-капитан С. Фигура его была жалкая, командовал он каким-то сдавленным голосом. Приемы делались, видно, плохо, потому что государь все более и более хмурился и наконец не выдержал, когда дело дошло до заряжения ружей. У кого-то из передних не вынулся шомпол; государь подбежал, вырвал у него из рук ружье, выдернул шомпол, бросил ему ружье назад и закричал: «Учить этих мерзавцев целую ночь на заднем плацу!» Тем смотр и кончился. Государь уехал, а нас свели учиться на задний плац. В 8 ч. наш полковник вернулся в лагерь, и я уверен, что воспитанники инженерного училища ни в какие годы его существования не делали ружейных приемов с таким азартом, как мы в этот достопамятный вечер, под командой нашего полковника. Он хвалил нас ежеминутно и не ради утешения, а в самом деле, по всей справедливости. В 10 часов вечера пришел приказ из дворца прекратить ученье.

На нас этот смотр ничем не отразился; а на судьбу барона Розена остался, может быть, не без влияния. Будучи уже в этом году (1847) старым заслуженным полковником с Владимиром на шее, он так и не дослужился до генеральского чина и умер где-то в провинции командиром саперного батальона. Мир праху этого честного человека!

Лагери этого года были для инженеров, как читатель видит, не веселые; но за ними для нас, выпускных, готовилось в городе большое счастье: в день возвращения в город в дортуарах училища на наших постелях уже лежал заказанный перед летом офицерский костюм с эполетами (офицерских погон тогда еще не было, и я уверен, что погоны доставляют теперешним выпускным гораздо меньше удовольствия, чем эполеты). В жизни моей было немало радостных минут, но такого радостного дня, как этот, конечно, не было. Перестаешь быть школьником, вырываешься на волю, запретов более нет; живи, как хочется, да еще с деньгами в пустом до того кармане (на выход в офицеры мне, конечно, были присланы деньги из дому и в придачу бобровый воротник к будущей зимней шинели). Одно меня немного огорчало – не было еще усов; но я не преминул помочь этому горю и в первые же дни купил накладные и по вечерам щеголял в них по улицам. В первые же дни снял с себя для матери дагеротипный портрет в офицерском мундире (фотографирования на бумаге еще не было) и, наконец, настолько объелся сардинками, что не мог долгое время их видеть. Хорошо, что я не знал до этого времени сладостей кутежа[13], иначе мог бы удариться, по данным характера, во многие тяжкие. Притом же мне удалось поселиться так, что не приходилось таскаться по трактирам. В двух флигелях одного и того же дома на Шестилавочной поселились пять товарищей, и в одном из флигелей я с Постельниковым и полковником Германовым. Постельникову, по обычаям того времени, прислали родители, при его производстве в офицеры, пожилого слугу, оказавшегося поваром. В нашей квартире была кухня, и этот добродетельный человек взялся кормить нас пятерых обедом и ужином по 7½ руб. с человека. Для новоиспеченных прапорщиков обстоятельство это было важно еще в том отношении, что они получали всего 300 руб. в год жалованья. Жизнь в то время была, должно быть, дешевая, потому что при маленькой поддержке из дому я абонировался в сентябре в Большом театре на Итальянскую оперу, наслышавшись об ее чудесах от товарища Валуева, родители которого были абонированы в опере со времени ее появления в Петербурге. Абонировался я на двухрублевое место и получил самое скверное кресло в театре; но наслаждался на этом месте, вероятно, не менее счастливцев, сидевших в бель этаже.

Описывать повседневную жизнь этого года не стоит. Проходила она в кругу прежних товарищей; учиться приходилось по-прежнему; новых знакомств не завелось; дешевых

[13] В бытность в училище, куда я попал из дома мальчиком, не бывал нигде, кроме семьи Штром, где вкус к кутежам развиваться не мог. Водки и вина там не водилось. Единственный кутеж происходил раза дна в год, по большим праздникам, в виде так называемого глинтвейна с сахаром и корицей.

увеселительных заведений в Петербурге тогда не было (был я, впрочем, один раз, в качестве зрителя, в танцклассе Марцинкевича), так что, когда улеглись на душе радости выхода с эполетами на свободу, жизнь стала казаться даже скучноватой. Одной усладой для меня была итальянская опера. Здесь развилась во мне оставшаяся доселе страсть к итальянской музыке; и здесь же восторги от пения Фреццолини перешли мало-помалу в обожание самой дивы. Приблизиться к ней у меня и помыслов не было – в течение этого года я уже имел случай убедиться, что мне, с моей изуродованной оспой татарской физиономией, иметь успех у прекрасного пола не суждено, – поэтому обожание происходило издали и не доставляло мне никаких мучений.

Перехожу теперь к моему прощанию с инженерным училищем.

Судьба учившихся в нижнем офицерском классе, смотря по успехам в науках, доказанным на экзаменах, была троякая: получившие в среднем 47½, переходили в верхний класс подпоручиками; второй разряд туда же, без повышения чином, а третий выходил из училища тем же чином в армейские саперы. Учился я в этом году не так прилежно, как в прежние, но принялег к экзаменам и имел право надеяться на переход в верхний класс подпоручиком; но этого не случилось.

Главными инженерными предметами в нижнем офицерском классе были долговременная фортификация и строительное искусство. На экзамене из фортификации нужно было представить рисунок долговременного укрепления, и за него ставили баллы; в них ничего нового не полагалось – вычерчивалась и раскрашивалась какая-нибудь одна из известных систем укреплений. Кроме того, все немастера чертить и рисовать (к каким принадлежал и я) заказывали обыкновенно эти рисунки в чертежной инженерного департамента; и этот древний обычай не мог не быть известен начальству. Сверх всего прочего, капитан Андреев, будучи не менее страстным итальяноманом, чем я, встречаясь со мной в театре на одних и тех же представлениях, очень благоволил ко мне и частенько беседовал со мной не о крепостях, а о слышанных операх и их исполнителях. Как бы то ни было, заказанный мною для экзамена рисунок он подписал без всяких расспросов, не предчувствуя ожидавшего меня на экзамене сюрприза. Генерал Ламновский присутствовал на этом важном экзамене и, как только я представил рисунок, схватил циркуль и стал сверять размеры всех частей с приложенным к рисунку масштабом (чего я не делал). Злодей рисовальщик устроил мост через ров в 5 сажен вместо 3; это не ускользнуло от циркуля генерала, и он поставил мне за рисунок 15. Другими словами, сразу лишал меня возможности перейти в верхний класс подпоручиком. Я перестал готовиться к экзаменам как следует и получил второй скверный балл из нелюбимого мною строительного искусства.

По окончании экзаменов все мы получили повестки явиться в определенный день и час в училище. Генерал вышел к нам со списком в руках и объявил, что призвал нас выслушать наши желания и по возможности исполнить их. Я оказался первым в 3-м разряде; мне было объявлено, что перейти в верхний класс я не могу, и на мое желание поступить в Кавказский саперный батальон получил в ответ короткое сухое «не можете». Мне не пришло тогда в голову, что распределение нас по саперным батальонам не было в его власти, и казалось, что сухой отрицательный ответ на вызванное им же самим мое заявление был лишь новым проявлением его желания отомстить мне.

Через несколько дней мне и одному из моих сожителей, Постельникову, было объявлено, что мы назначены в Киев, во 2-й резервный саперный батальон.

Как только нам выдали подорожные и прогонные деньги, Постельников, я и присланный мне в течение этого года из деревни в услуги молодой парень Феофан Васильев отправились, в самый разгар петербургской холеры, в путь, на юг.

Мог ли я тогда думать, что непочетное удаление из училища было для меня счастьем? Инженером я, во всяком случае, был бы никуда не годным.

В Киеве, сапером (1848–1850)

Батальон, в который я был назначен, составлял вместе с 6-м саперным батальоном бригаду, которая летом стояла лагерем под Киевом, верстах в двух от города, а осенью уходила на зимние квартиры. На зиму в городе оставалась юнкерская школа и те из саперных офицеров, которые назначались туда учителями. К числу последних принадлежал и я; поэтому нести военную службу мне пришлось только в течение двух лагерных сборов, да и то неполных, так как мы с Постельниковым, по дороге в Киев, заезжали к его родителям и прибыли на место в конце июня, с опозданием на несколько дней. Начальство спустило нам эту вину с снисходительной улыбкой, и мы разместились очень удобно в лагерных бараках (не палатках). Кроме Постельникова и меня во 2-й резервный батальон прибыл наш однокурсник Владыкин, и в 6-й саперный – Корева, так что с первых же дней мы очутились в своем обществе.

Главные наши командиры (бригадный генерал Букмекер, батальонный – полковник Кехли) не были ни служаками, ни строгими начальниками. Генерала за все время пребывания моего сапером видел я много-много раза три-четыре. Полковник наш (как, впрочем, и все семейные офицеры) жил вне лагеря, являлся перед нами только на батальонном ученье, держался далеко от своих подчиненных и был, по всем видимостям, человек благовоспитанный и порядочный: не вмешивался в батальонные дрязги, не ругался на ученьях и был со всеми безупречно вежлив. Нужно отдать справедливость и нашим ротным командирам: и они не держали себя с нами по-начальнически. Долгом считаю прибавить к этому, что в обе лагерные стоянки я не был свидетелем ни пьянства, ни крупных ссор, никакого вообще безобразия в среде офицеров, ни даже зуботычин во фронте; и только раз пришлось быть невольным свидетелем страшной экзекуции над бедным солдатом Калугиным из нашего батальона. Его гнали сквозь строй за второй побег, после того как за первый он был разжалован из унтер-офицеров и считался штрафным. Все офицеры были обязаны присутствовать при этой варварской церемонии; наш полковник, однако, сумел уклониться от присутствия, и всем распоряжался на его месте командир 1-й роты капитан Ползиков. Я видел только, как руки бедняка, в штанах, с оголенной спиной, привязали не то к ружью, не то к палке, и два солдата, держа концы этой горизонтальной опоры для несчастного, повели его между двух рядов солдат с длинными хворостинами. От остального закрыл глаза и только по окончании экзекуции видел открытыми глазами следующую сцену. Распорядитель, капитан Ползиков, заметил между секущими солдата, который не ударил несчастного розгой, и как только того увезли в госпиталь, разложил виноватого перед всеми его товарищами и всыпал ему двадцать пять розог. Этот встал, натянул штаны и промолвил: «Покорнейше благодарю ваше высокоблагородие».

Нашему ученому войску следовало бы в лагерное время заниматься больше всего саперными работами, но на это посвящалось очень мало времени, потому что летом под Киевом не оставалось никаких других войск, кроме саперов, и нам приходилось занимать в городе караулы. Лично я в эти два лета занимался недели две съемкой в окрестностях лагеря и состоял при заведующем минными работами, где, однако, играл роль не деятеля, а зрителя, так как в училище практике саперного дела нас не обучали. Воспоминаний об этой деятельности у меня никаких не осталось; знаю только, что она была мне сильно не по душе, что я был очень неисправным офицером, и что мои неисправности сходили мне с рук благодаря протекции нашего бригадного адъютанта поручика Тецнера. Однокашник по училищу, он, конечно, знал историю моего выхода из оного, сам тяготился военной службой и являлся моим защитником.

Когда мы поближе познакомились с нашими новыми товарищами, между ними, в лице подпоручика 6-го батальона Василия Афанасьевича Чистякова, оказалось прелестнейшее, вытканное из незлобия и наивности существо, одинаково веселое в нищете, невзгодах и даже смертельной опасности. Существовало достоверное предание, что, отправляясь в батальон по выходе из корпуса, он заехал по дороге, неподалеку от Киева, к бабушке, которая подарила ему на прощанье тулупчик на мерлушке и жеребеночка; вскоре по прибытии на место службы он был вовлечен новыми приятелями в карточную игру, проиграл все свои деньги и

в придачу оба подарка бабушки. Карты он после этого бросил, но пришлось наделать долгов, и в конце концов бедный Василий Афанасьевич был вынужден питаться из ротного котла, так как все почти месячное жалованье уходило на оплату долгов. В таком положении мы его и застали. Вскоре мы сдружились, и он стал неразрывным товарищем нашего молодого кружка[14]. В течение месяца Василий Афанасьевич был, конечно, нашим гостем; но как только получалось жалованье, в ответ на наши угощения он устраивал в своем бараке бал, и мы приглашались гостями. На оставшиеся от жалованья крохи угощал он нас чаем, закуской и непременно бутылкой мадеры с графинчиком водки. Так беззаботно проживал Василий Афанасьевич до 1849 г., когда случилось следующее происшествие. Недели за три до выхода батальонов на зимние квартиры его и некоторых из нашего кружка пригласил к себе вечером на чай женатый поручик Роше. Разговор зашел о прелестях женатой жизни, и хозяин, конечно шутя, обратился к Чистякову со словами: «Что это вы, Василий Афанасьевич, не женитесь, ведь пора, и невеста у меня есть подходящая – учительница моих детей, прекрасная девушка, правда небогатая, да ведь для вас не в деньгах счастье». Василий Афанасьевич принял эту шутку, очевидно, всерьез, потому что задумался и ничего не ответил. В последовавшую затем неделю сборов батальонов к выходу на зимние квартиры мы, учителя юнкерской школы, переселились в город. Едва ушли батальоны, как до кого-то из нас дошло известие, что Василий Афанасьевич женился и все свое имущество повез в детской колясочке на денщике. Вторая половина известия прибавлялась, конечно, в шутку; но первая была верна. Василий Афанасьевич действительно женился на рекомендованной ему невесте, которая, вероятно, думала, как и жених, что не в деньгах счастье.

В первую же зиму я познакомился в Киеве с двумя семейными домами. В одном из них, с тремя молоденькими барышнями, мы, учителя юнкерской школы, играли роль молодых офицеров, имевших занимать барышень, играть в фанты и даже танцевать один раз в неделю, в назначенный день. А в другом доме, куда из товарищей вхож был я один, были положены молодой представительницей дома все основания моей будущей судьбы.

В Киеве, как в крепости, была так называемая инженерная команда, и между молодыми офицерами этой команды был наш однокурсник Безрадецкий и два, тоже знакомых по училищу товарища, офицеры М. и Х., старше нас на три года. Понятно, что как только мы узнали о прибытии Безрадецкого в Киев, а он узнал о нашем пребывании в саперах, то начались взаимные посещения. У него мы встречались с обоими старшими товарищами, и я вскоре сошелся с последними. Много ли, мало ли времени прошло после этого знакомства, не помню, но раз инженер Х. предложил мне познакомиться с его семейством, получил, конечно, согласие и свез меня к своим на Подол. С тех пор я ездил в его семью раз в неделю во всю зиму 48-го года и в первую половину следующего.

Это была обрусевшая польская семья. Отец и мать католики, жили в молодости (он врачом) в таком русском захолустье, что детей пришлось окрестить в русскую веру. Позднее он жил долгое время в Костроме, занимаясь частной практикой; и здесь над его семьей стряслась беда. При императоре Николае Кострома была одним из ссыльных городов для поляков, и в ней случился большой пожар. Губернатор, не думая долго, заподозрил в пожаре поляков и засадил всех без исключений в острог. В число заключенных попала и рассказывавшая мне об этом событии дочь доктора, тогда 16-летняя девочка.

Для расследования дела был послан из Петербурга генерал Суворов (хорошо известный впоследствии петербургский генерал-губернатор); подозрение губернатора оказалось неосновательным; все были выпущены на свободу, и рассказчица получила даже от Николая Павловича бриллиантовые серьги в утешение. Незадолго до описываемого мною времени семья переехала в Киев и вела очень скромную жизнь.

В те дни, когда я бывал у них с поручиком М., мать никогда не выходила к гостям;

---

[14] Нужно заметить, что тогда офицеры жили в разбивку, не образуя цельного товарищеского кружка наподобие того, как живут, например, офицеры-однополчане в Германии. В нашем лагере не было и помещения, где мы все могли бы сходиться вместе.

старший сын показывался крайне редко; отец-старик появлялся лишь на короткое время; других гостей, кроме нас двоих, никогда не было; поэтому нашу вечернюю компанию, под предводительством моей двадцатилетней благодетельницы Ольги Александровны, составляли только два ее брата да мы двое.

На председательство в мужском обществе давало ей право звание замужней женщины – она была вдова, потерявшая мужа через полгода после свадьбы, – и еще более то обстоятельство, что, несмотря, на юность, она была по развитию, да и по уму много выше своих собеседников. Описывать ее внешность я не буду; достаточно будет сказать, что она не была, как полька Мицкевича, бела как сметана и как роза румяна; но очи ее очень часто светились действительно как две свечки, потому что была вообще из породы экзальтированных. Всего же милее в ней была добрая улыбка, которою нередко кончались ее горячие выходки.

Училась Ольга Александровна дома, и учителями ее были исключительно мужчины; отсюда ее вкус к серьезному чтению и серьезное отношение к жизненным вопросам, с некоторой примесью озлобленности, естественно, впрочем, вытекавшей из общих условий тогдашнего существования и претерпенных ею личных испытаний. Коньком О. А. были сетования на долю женщин. В то время только что появилась в киевской продаже книга Легувэ «La femme»[15]; она много носилась с нею, давала ее даже нам на прочтение и никак не хотела помириться на проповедовавшейся там высокой роли женщины в семье и школе. Женщину она считала, не то шутя, не то серьезно, венцом создания и видела в ее подчиненности мужчине великую несправедливость. Путь, которым пошла впоследствии русская женщина, чтобы стать на самостоятельную ногу, был тогда еще закрыт; подчиненное положение женщины она признавала с болью в сердце безвыходным и ожидала в будущем, в общем прогрессе просвещения, лишь смягчения ее участи. Понятно, что при таких задатках образованность в мужчине и умственный труд имели в ее глазах большую ценность. Она ставила университетское образование очень высоко и считала Московский университет стоящим впереди всех прочих – имя Грановского услышал я впервые от нее. Как любезная хозяйка, нашей профессии она не касалась, но едва ли сочувствовала ей – времена были тогда для России мирные, защищать отечество нам не предстояло, и формула «готовь войну, если хочешь мира» не была еще в таком ходу, как ныне. Мысли ее шли в сторону служения ближнему, и в этом смысле она относилась очень сочувственно к профессии медика.

Я нарочно выписал эти немногие отрывки из вечерних бесед на Подоле, потому что именно они запали мне глубоко в душу. Возможно, что приведенные взгляды О. А. не возымели бы на меня большого действия, если бы высказывались с целью поучения. Но она держала себя на равной ноге с нами и высказывала свои взгляды случайно, вскользь, среди обычных общих разговоров и споров, сохраняя лишь неизменно облик живой, увлекающейся, умной и образованной женщины. Нужно ли говорить, что поучения ее, сверх их действительной ценности, запали мне глубоко в душу еще потому, что я в нее влюбился.

Любовь свою я скрывал столь тщательно, что за все время знакомства не встретил ни на чьем лице из присутствовавших ни единой подозрительной улыбки. Вернее, впрочем, то, что всем вечерним собеседникам – ей, ее брату и М. – моя тайна была известна; но они смотрели на меня справедливо, как на мальчика (мне шел во время этого знакомства 20-й год), который умел держать себя прилично и которому первая юношеская любовь полезна. Это я заключаю из того, что О. А. была всегда очень ласкова со мной, а в ее женихе М. не было никаких проявлений ревности: вплоть до ее отъезда из Киева мы продолжали ездить с ним ежедневно на Подол, туда и назад вместе. Не знаю, смог ли бы я выдержать характер, если бы знал, что езжу с женихом; но это было от меня скрыто, и я не догадался даже тогда, когда вслед за отъездом О. А. узнал, что М. уехал из Киева в 4-месячный отпуск. Уезжала она, по ее словам, ненадолго, и, прощаясь с нею, я думал, что поскучать придется недолго.

---

15 «Женщина» (*фр.*).

Прошло несколько месяцев, в течение которых я, очевидно, жил ожиданиями ее возвращения. Время подходило к Рождеству. Сижу я раз за картами с своими товарищами по юнкерской школе и слышу вдруг восклицание кого-то из них: «А знаете ли, г-жа имярек вышла замуж за М., и на днях они будут здесь!» Тут я смутился и выдал себя каким-то несообразным ходом; но меня пощадили, словно не заметили, и игра продолжалась без дальнейших разговоров на эту тему. Через несколько дней молодые действительно приехали, и я был у них с поздравительным визитом. Но меня грызла, видно, ревность, прием показался мне парадным, натянутым, и я уехал с решением быть у них только еще раз на прощанье.

Вслед за этим я подал в отставку. По справкам оказалось, что я мог взять увольнительное свидетельство до получения указа об отставке; в Киеве оставаться мне не хотелось, но денег в кармане у меня было очень мало, и просить их из дома я не считал себя вправе. К счастью, один из моих товарищей, Владыкин, был человек состоятельный и, уезжая в эти дни домой в отпуск, обещал мне дать взаймы двести руб. К еще большему счастью, наш бригадный адъютант Тецнер, узнав обо всем этом, предложил мне деньги тотчас. Он сам собирался тогда покинуть военную службу и сочувственно относился к моей отставке. С деньгами в кармане я получил возможность скинуть военную форму и приехал прощаться с О. А. уже в штатском платье. В этот раз прием был дружеский, меня искренне поздравили с тем, что я оставляю мало обещавшую службу, сочувственно отнеслись к намерению учиться и пожелали мне всяких успехов.

Так кончился киевский эпизод моей жизни. Выше я назвал Ольгу Александровну моей благодетельницей, и недаром. В дом ее я вошел юношей, плывшим до того инертно по руслу, в которое меня бросила судьба, без ясного сознания, куда оно может привести меня, а из ее дома я вышел с готовым жизненным планом, зная, куда идти и что делать. Кто, как не она, вывел меня из положения, которое могло сделаться для меня мертвой петлей, указав возможность выхода. Чему, как не ее внушениям, я обязан тем, что пошел в университет – и именно тот, который она считала передовым! – чтобы учиться медицине и помогать ближнему. Возможно, наконец, что некоторая доля ее влияния сказалась в моем позднейшем служении интересам женщин, пробивавшихся на самостоятельную дорогу.

В начале февраля 1850 года мы с моим милым слугой Феофаном Васильевичем отправились из Киева в наше родное гнездо, с. Теплый Стан. По дороге туда завернул в Чембарский уезд Пензенской губ. и погостил недельки две у Владыкина. Милый Владыкин, зная, что мне предстоит во время учения жить на небольшие средства из дома, уговорил меня выплачивать ему долг маленькими порциями, и долг был выплачен в три года.

Мать встретила отставного прапорщика со слезами, но без единого слова упрека. Она, по ее словам, всегда желала, чтобы кто-нибудь из сыновей пошел по «ученой части», и, зная из моих писем, что я оставляю службу, с тем чтобы идти в университет учиться, мирилась с моей отставкой. Соседи смотрели на этот поступок иначе. Старик Филатов в поучение мне рассказал о своей неудаче на медицинском факультете и закончил рассказ, как теперь помню, следующим двустишием:

Профессоров и лекарей Душа моя ненавидит, как лютых зверей.

Другой сосед, А. П. П., говорил прямее: «Чего, кума, смотреть на молодчика; пусти его, коли не любит военную службу, по гражданской; наш симбирский губернатор возьмет его, может быть, чиновником особых поручений, благо он у тебя боек, не глуп и знает языки». К довершению всего младший сын Филатова, Николай, учившийся вместе со мной в инженерном училище, кончил курс в верхнем офицерском классе с отличием, поступил в гвардейские саперы, женился в Петербурге на дочери «важного штатского генерала» и имел приехать в это самое лето с молодой женой в тот же Теплый Стан. Как было не болеть сердцу бедной матери! Но вначале она сумела скрыть от меня свое огорчение, а потом, вероятно, поверила моему намерению учиться серьезно и успокоилась. Вскоре мы сделались такими друзьями, что она стала поверять мне стороны своей прошлой жизни, которыми ей нельзя было делиться с дочерьми.

Без указа об отставке ехать в Москву было нельзя, а указ не приходил до начала октября. Помню, что дня за три до отъезда стал падать снег, установился санный путь, и я с моим неизменным слугой доехал до Москвы на санях. На городской заставе нужно было предъявлять паспорт. Его вынес из караулки старый чиновник и, подавая мне бумагу, покачал головой со словами: «Эх, господин прапорщик, послужили без году неделю да в столицу прожигать родительские денежки».

В Московском университете (1850–1856)

Остановились мы на каком-то подворье, недалеко от Охотного ряда, и почти сейчас же отправились вдвоем отыскивать квартиру поблизости к университету. Нашли квартиру в Хлыновском тупике, в церковном доме Николы Хлынова, у пономаря этой церкви. Квартира была в первом этаже и состояла из двух комнат: полутемной прихожей и кухни вместе и комнаты в два окна, с окнами в переулок. Последняя комната была разделена сплошной перегородкой, и в одной половине ее поселился я, а Феофан Васильевич в той части первой комнаты, которая служила прихожей. Он был башмачник по ремеслу, но в Киеве наживал деньги набивкой папирос для офицеров. Здесь же, вскоре после нашего прибытия, в его комнате завелись все принадлежности башмачного искусства, и он засел за башмаки для церковных дам Николы Хлынова. Шил он, очевидно, очень дешево и крепко и сумел, вероятно, услужить хозяевам чем-нибудь другим, потому что хозяйка взялась варить нам немудрый обед из нашего материала бесплатно. Для меня это было очень важно, потому что в этом и следующем году приходилось очень экономить – из 300 р., получавшихся от матери, нужно было вносить в университет 50 р., уплачивать часть долга Владыкину и покупать книги (помню с достоверностью, что в первый же год у меня были анатомический атлас Бока и зоологический Бурмейстера). Не знаю, как ухитрялся Феофан Васильевич – забота о прокормлении лежала на нем, – но еда нам обоим в течение месяца обходилась редко дороже пяти рублей[16].

Весь этот год я находился в сильно повышенном настроении, ходил только на лекции в университет, а дома сидел за книгами до позднего вечера. Единственное окно моей полукомнаты выходило в переулок и было настолько низко от земли, что ребята повадились заглядывать ко мне с улицы в окно. Это побудило меня завесить нижнюю часть окна занавеской, и она не снималась вплоть до переезда на другую квартиру. Помню, что эта неважная обстановка нисколько не тяготила меня – был постоянно занят, сыт, и комната была теплая. Куда хуже живут и теперь многие студенты.

Когда я пришел в канцелярию университета с вопросом, что делать, чтобы меня приняли студентом на медицинский факультет (в октябре!), мне, конечно, ответили, что теперь, подав просьбу ректору, я могу записаться лишь вольным слушателем, а в студенты могу быть зачислен лишь в будущем году по выдержании вступительного экзамена. Нечего делать, поступил вольным слушателем с мыслью посещать лекции первого курса и готовиться исподволь к вступительному экзамену. Анатомию читал тогда профессор Севрук ежедневно с 8 до 10 утра; поэтому первая лекция, на которую я пришел, была его. Прихожу и слышу, к немалому моему огорчению, что он читает по-латыни. Меня это, конечно, озадачило, потому что в памяти из детских лет осталось только уменье читать по-латыни, склонение таких простых вещей, как mensa, да разве нескольких времен из глаголов. Вскоре, однако, опасения рассеялись, когда я приобрел учебник анатомии и атлас; особенно же, когда дело дошло на лекциях до миологии, потому что здесь все дело сводилось на описание начала и конца мышц в неизменно повторявшейся форме.

---

[16] Обед мой, впрочем, соответствовал такому расходу: два раза в неделю щи с куском говядины, в прочие дни: 6 яиц всмятку, колбаса, гречневая каша с молоком, картофель с квасом и огурцами. Чай я пил только раз в две недели после бани, а утром съедал калач из муки 2-го сорта в 1½ коп. Изредка лакомился яблоком-боровинкой, и вкус к этому яблоку сохранился у меня доселе.

Как бы то ни было, но пришлось подумать об изучении латинского языка, а в какой степени нужно было изучить его для вступительного экзамена и для дальнейших университетских лекций, я не знал. Выручило меня из этого затруднения знакомство со студентом филологом Дм. Визаром, научившим меня, как приняться за дело. Он был в одно из предшествующих лет в наших краях на кондиции в семействе, знакомом моим домашним, и я встретился с ним у другого студента, юриста Самойлова, родственника тех, где он учил. Оба они приняли, конечно, участие в желавшем учиться отставном инженере, и я стал бывать у них. Отец Дмитрия Визара, старик француз, был учителем французского языка в институте при воспитательном доме, имел казенную квартиру и жил с двумя старшими сыновьями и двумя дочерьми, а мать держала маленький пансион около Донского монастыря и жила в тех краях с младшим сыном. С этой семьей я прожил в величайшей дружбе все шесть лет моего пребывания в Москве и обязан ей очень многим. В их доме довершилось, можно сказать, мое воспитание, начатое в Киеве Ольгой Александровной.

Главой дома был старший брат, добрейший, благороднейший Владимир Яковлевич, – по смерти отца у него остались на руках сестры, молоденькие девушки, приготовлявшиеся дома к экзамену на звание домашней учительницы. Я застал его уже чиновником, служившим, по окончании университета, в опекунском совете, но без малейшего чиновнического отпечатка. Живой, бодрый, неизменно веселый, он, как истинный глава семейства, был примерным для нас скромником во всех отношениях; очень любезен с дамами, но по-братски, без малейшего намека на ухаживание; и настолько заботился о своих сестрах, что одна приятельница их семьи называла его не иначе, как мамаша. У себя дома, в кругу приятелей, он действительно походил на милую, добрую, веселую хозяйку. Единственной его мужской страстью была охота с ружьем.

Дмитрий Визар был совсем другой человек. В сущности, такой же добрый, как брат, но без его девической чистоты и мягкости, он принадлежал к тому типу нервных, неуравновешенных людей, которые способны впадать в крайности – от мрака переходить к порывам веселья, от серьезного дела к кутежу. Будучи слушателем на филологическом факультете, составлявшем тогда красу и гордость Московского университета, он учился с увлечением, зачитывался книгами и готовил себя к ученой карьере. А университет играл тогда в Москве очень видную просветительную роль, и Москва его любила – не то, что ныне, когда университет стараются оградить от общества китайской стеной чиновничьих регламентов.

Музыка была представлена в этом доме учительницей старшей сестры,[17] госпожой Протопоповой, очень хорошей музыкантшей, вышедшей впоследствии замуж за А. П. Бородина, химика и автора «Игоря». Наконец, литература была представлена вхожим в дом Аполлоном Григорьевым.

Легко понять, что знакомство с такой семьей было для меня большим счастьем, особенно если принять во внимание, что медицина тогдашнего времени как наука содержала в себе очень мало культурного.

Лето 1851 г. я прожил в Хлыновском тупике, готовясь к вступительному экзамену. В латыни преуспел настолько, что, прочитав почти все «Метаморфозы» Овидия, обращался к Визару за помощью лишь изредка. По истории готовился по учебнику Лоренца, который был дан мне кем-то на столь короткий срок, что я должен был делать из него выписки. Занятия эти отняли вообще столько времени, что я уже давно свыкся с мыслью поступить на 1-й курс.

Из маленьких эпизодов на экзамене помню следующие. По истории экзаменовал Грановский; отвечал я, должно быть, неважно: экзаменатор все время молчал и поставил мне 4. По русскому языку требовалось написать сочинение на тему «Любовь к родителям». Я

[17] Леонида Яковлевна, тогда молоденькая красивая девушка, большая моя приятельница, вышедшая потом замуж за моего товарища Владыкина, изучавшая потом в Берне медицину, вернувшаяся оттуда доктором и занимавшаяся медицинской практикой в Москве.

написал о значении матери для Шиллера и Гете. Экзаменатором был Буслаев. Прочитав мое сочинение, он спросил, читал ли я Гете и Шиллера, и, получив удовлетворительный ответ, поставил мне 5. Из математики экзаменовал проф. Зернов. Помню, что я вытянул билет о подобии треугольников. В эту минуту подле Зернова сидел тогдашний декан медицинского факультета Анке, который имел неосторожность заметить: «Что экзаменовать г. Сеченова, ведь он инженер». На это Зернов осерчал: «Если хотите, я экзаменовать не буду». Анке, конечно, поспешил исправить ошибку, и условия подобия треугольников были изложены удовлетворительно. Из латыни заставили перевести несколько строчек из Саллюстия.

По окончании экзамена мы с Феофаном Васильевичем перебрались на новую квартиру на Патриаршем пруде в доме с мезонином. Квартира наша состояла из двух комнат и передней, моя выходила окном на пруд. Когда, после года жизни в полутемной комнате, успокоенный от экзаменационных тревог, я открыл впервые это окно, Патриарший пруд показался мне, я думаю, краше виденных впоследствии швейцарских и итальянских пейзажей. Помню, что окно это долго служило для меня источником наслаждений, и благодаря этому в памяти сохранилось несколько лиц, гулявших ежедневно по аллеям вокруг пруда. Помню, например, соседа по дому, г. Кутузова, человека средних лет, с военной выправкой, гулявшего всегда с хлыстом в сопровождении бульдога, Гришки по имени; помню цыганок, гулявших в ярких нарядах, и между ними одну прямо-таки красавицу. К женскому полу я был тогда равнодушен – голова была сильно занята другими вещами, да в сущности я все хранил в душе киевские воспоминания.

Очень оригинальна была моя третья квартира в одном из переулков, выходящих на Б. Никитскую. Хозяин ее был лежавший в параличе князь Голицын. Из своей маленькой квартиры он отдавал одну комнату (в которой жил я) и кухню (в которой жил мой слуга). Князь был в таком стеснительном положении, что в лавке, откуда бралась провизия для его стола, ему уже ничего не давали, и он питался исключительно чаем, так как булочная еще не закрыла для него своих дверей. Плата за квартиру была, конечно, помесячная и вперед. Тем не менее вскоре после того, как я поселился у него и заплатил должное вперед, получаю от него записку на французском языке, где с большими извинениями бедный князь просит дать ему в счет будущего 5 руб. Желание его было исполнено, и я узнал в этот день, что он посылал в английский клуб за варенцом. Стряпала нам жившая при князе прислугой женщина, и была, по всем видимостям довольна – все же перепадали ей время от времени, вместо неизменного чая с хлебом, кусок говядины, молоко, яйца и картофель.

В течение этого года была выплачена последняя часть долга Владыкину, и с переходом на 3-й курс я стал богатым человеком благодаря укоренившейся привычке жить экономно.

Теперь расскажу, как нас учили на первых двух курсах.

Кроме анатомий и богословия, на 1-м курсе преподавались одни естественные науки: физика, химия, ботаника, зоология и минералогия.

Профессор анатомии Севрук был анатомом старого закала. Читая по-латыни, он не мог, конечно, вдаваться в рассуждения; гистологию (тогда отдельной кафедры гистологии еще не существовало) не только оставлял в стороне, но даже относился к ней скептически; поэтому он неизменно оставался в сфере точного описания макроанатомических подробностей человеческого тела. В этих пределах он был хорошим преподавателем и – что очень важно – прочитывал в течение года все отделы анатомии с одинаковой подробностью (не так, как это делается теперь); потому-то к следующему году его слушатели были уже приготовлены к занятиям анатомической практикой по всем отделам анатомии.

Богословие читал очень важный с виду священник университетской церкви, протоиерей Терновский, считавшийся ученым богословом, – он написал учебник, в котором богословские тезисы, выводимые из Священного Писания, подкреплялись доводами разума. На лекциях он зорко следил за благочинием своей многочисленной аудитории – его слушали первокурсники всех факультетов разом. На одной из лекций рассказывал нам о грехопадении прародителей; и вдруг среди общей тишины раздается щелк.

«Господин Малинин, – прерывает свою речь протоиерей, – я рассказываю вам о

событии, столь пагубно отразившемся на судьбах человечества, а вы грызете орехи. Извольте идти вон». На экзамен из его предмета приехал в этом году (1852) митрополит Филарет. О его приезде знали, вероятно, наперед, потому что в аудитории, где происходил экзамен, его прихода ждали: несколько посторонних лиц и между ними историк С. М. Соловьев, чтобы подойти под благословение знаменитого владыки.

Физика (проф. Спасский, автор «Климата Москвы») читалась очень элементарно, в один год, и с очень малым количеством демонстраций, потому что аудитория не была приспособлена к этому: в большом зале, без амфитеатра для слушателей, стоял на большом возвышении небольшой стол и больше ничего. Учились мы по учебнику Ленца.

В той же аудитории и за тем же столом восседал добрейший профессор ботаники Фишер фон Вальдгейм. Читал он невыразимо скучно, по какому-то древнему французскому учебнику, и, в противность протоиерею Терновскому, относился к порядкам в аудитории индифферентно. На лекции к нему ходило, вместо ста человек с лишком, не более десяти – пятнадцати; его добротой немилосердно злоупотребляли на экзамене, отвечая не по вытянутым, а по собственным билетам.

Зоологию преподавал нам адъюнкт Варнек. Читал он просто и толково, останавливаясь преимущественно на общих признаках принятых в зоологии отделов, и описанию одноклеточных предпослал длинный трактат о клетке вообще. Последнее учение падало, однако, на неподготовленную почву – Москва еще не думала тогда о микроскопе; поэтому между студентами Варнек не пользовался успехом, а в насмешку они даже прозвали его клеточкой[18].

Тогда восторги были обращены в сторону проф. зоологии Руллье, который любил философствовать на лекциях и читал очень красноречиво.

Минералогия читалась Щуровским, без кристаллографии и в таком виде, что о его лекциях ничего не осталось в памяти.

Практическими занятиями в анатомическом театре заведовал добрейший прозектор Иван Матвеевич Соколов (Севрук на эти занятия не заглядывал). Я и двое товарищей по курсу, Юнге и Эйнбродт, занимались у него не только по утрам, в назначенные для всех часы, но и по вечерам, что допускалось. Вечером вместе с нами работал и сам Ив. Матв., приготовляя препарат к следующему дню на лекцию Севрука. Делу своему он предавался с большой любовью, отделывал препараты с величайшей тщательностью, стараясь придавать им красоту, с каковой целью отпрепаровывал налитые кровеносные сосуды до едва видимых глазом веточек и смазывал мышцы кровью. Был вообще, как прозектор того времени, на месте. По выслуге Севрука сделался профессором анатомии и даже читал один или два года физиологию, но, прослужив двадцать пять лет, не был избран на пятилетие и остался без дела. В этом положении он поехал в Петербург хлопотать о месте, и, будучи без всяких связей, обратился к Боткину и ко мне (мы были тогда профессорами медицинской академии) с просьбой помочь ему в приискании места. К своей просьбе бедный Иван Матвеевич прибавлял: «Привыкнув всю жизнь мою анатомировать, я полез на стену, когда остался без дела; от скуки начал даже анатомировать жуков и тараканов».

Кроме практических занятий по анатомии, нам читали на втором курсе органическую химию, сравнительную анатомию, физиологию, фармакогнозию, общую патологию и терапию и, кажется, на этом же курсе, энциклопедию медицины.

Сравнительную анатомию и физиологию читал профессор Иван Тимофеевич Глебов, человек несомненно очень умный и очень оригинальный лектор. Излюбленную им манеру излагать факты можно сравнить с манерой судебного следователя допрашивать обвиняемого: именно, существенный вопрос, о котором заходила речь, он не высказывал прямо, а держал его в уме, и к ответу на него подходил исподволь, иногда даже окольными путями. Как

---

[18] Много позднее я узнал, что Варнек и известный ботаник Ценкоэский были из числа первых русских биологов, работавших в те времена с микроскопом.

человек умный, свои постепенные подходцы он вел с виду так ловко, что они получали иногда характер некоторого ехидства. Таков же он был и на экзамене, вследствие чего студенты боялись его как огня, – мне даже случилось раз видеть на экзамене одного из своих товарищей спрятавшимся под скамейку, чтобы не быть вызванным после погрома, претерпенного его предшественником[19]. Ехидная манера экзаменовать была нам, конечно, не по сердцу; но соответственная манера читать лекции не могла не нравиться, и лично для меня Иван Тимофеевич был одним из наиболее интересных профессоров. Из сравнительной анатомии вам сообщались лишь отрывки (органы пищеварения, кровообращения, дыхания и локомоции); но они сами по себе, как вся вообще сравнительная анатомия, настолько красивы и излагались настолько ясно, что на 2-м курсе я мечтал в будущем не о физиологии, а о сравнительной анатомии. Дело другое, если бы Ив. Тимоф. читал физиологию по знаменитому учебнику Иоганна Мюллера; но этого не было. Это я заключаю из того, что в его лекциях и помина не было о том, что физиология есть прикладная физикохимия, а также из того, что лягушка не являлась на демонстрациях и ничего не говорилось об электрическом раздражении нервов и мышц, хотя Германия давно уже была полна этих опытов (в 1850 г. явилось знаменитое измерение быстроты распространения возбуждения по нерву великого Гельмгольтца). Из его лекций мы не узнали даже такого факта, как остановка сердца возбуждением бродящего нерва. Единственные опыты, которые остались у меня в памяти: убитая на наших глазах вдуванием воздуха в вены собака, демонстрация на ней млечных сосудов и длинный ряд голубей с булавочными проколами головного мозга (проколы производились ассистентом Глебова, Орловским), которые раздавались нам, с тем чтобы мы описывали произведенные операцией нарушения локомоции и чувствительности.

Фармакогнозию читал проф. Лясковский и, вероятно, скучал на этом мало занимательном для него предмете (он, как известно, учился за границей, в Гиссене у Либиха, и занимался у него проверкой протеинной теории Мульдера), потому что прочел нам с демонстрациями полный курс качественного анализа.

Органическую химию читал Говортовский. В область медицины вводил нас профессор патологической анатомии Алексей Иванович Полунин, читавший на 2-м курсе раз в неделю очень маленький курс общей патологии и терапии. В те времена еще не существовало ни экспериментальной патологии, родившейся в Германии из успехов физиологии, ни учения о заразных болезнях, поэтому распространяться на этих лекциях было едва ли возможно. Как ученик Рокитанского, Алексей Иванович был приверженец гуморальной патологии, и лекции его заключались, в сущности, в перечислении установленных венской школой общих методов лечения; в рассуждения он вообще не любил пускаться.

У студентов-медиков Алекс. Ив. считался едва ли не самым ученым из медицинских профессоров; издавал, кажется, медицинскую газету, бывал чуть ли не на всех диспутах, которые велись тогда на латинском языке, оппонентом и слыл вообще крайне трудолюбивым работником. О степени его учености судить я не берусь; но не могу не заметить, что ему, как профессору патологической анатомии, следовало бы знать в 1855– 56 годах о Вирхове и его целлюлярной патологии, а между тем мы не слышали о них ни слова и ни разу не видели в его руках микроскопа.

Профессор Армфельд, читавший нам энциклопедию медицины, производил на своих лекциях впечатление очень умного и образованного человека; держал себя джентльменом, говорил спокойным, ровным голосом (даже несколько монотонно) и так, что речь его, будучи записана слово в слово, могла бы быть напечатана без поправок. Замечательно, что

---

[19] В этом году много разговоров между студентами возбудил экзамен у Глебова на звание доктора младшего прозектора по анатомии Б. Вытянул он очень простой билет – о свертывании крови, но, должно быть, сильно оробел, потому что, сказав: «Если возьмем палочку» (этими словами начинался в записках Глебова трактат о свертывании крови), замолчал и не смог ответить на последовавшие затем два вопроса профессора: что же будет, если взять палочку, и что будет, если не взять палочку. Не получив ответа на последний вопрос, профессор показал в списке рядом с фамилией единицу и сказал ему: «Вот что будет».

его лекций по судебной медицине я совсем не помню, знаю только, что, познакомив нас с формой судебно-медицинского свидетельства, он требовал от каждого из нас написать таковое на самим избранную тему; свидетельство, которое было написано мною, и было, так сказать, моим первым писательским опытом.

На 5-м курсе я жил в Мясном переулке, на Драчевке, и насупротив окон моей комнаты, выходивших в переулок, в маленьком домике с мезонином часто видел у окна за работой миловидную девушку, которая сидела к окну всегда боком и работала, не поднимая головы. По поводу того, что она сидела к окну боком и никогда не повертывалась лицом на улицу, у меня не раз мелькала мысль, что, должно быть, есть какой-нибудь порок у нее в той половине лица, которая остается скрытой для зрителя с улицы. Эта мысль послужила канвой для написанного свидетельства. Сидевшая против меня девушка превратилась в бедную швею с очень красивой левой половиной лица и большим родимым пятном на правой щеке; в квартире против ее окна поселился красивый предприимчивый юноша, увлекшийся красивым профилем швеи, и начал, конечно, подступы. К несчастью для девушки, она сильно влюбилась в этого юношу, любуясь им через завешенное окно и слыша его медоточивые речи. Кончилось тем, что он все-таки увидел ее безобразную правую щеку и был настолько бессердечен, что при этом виде рассмеялся и прекратил ухаживанья, а бедная девушка сошла с ума и сделалась объектом судебно-медицинского исследования.

На первых двух курсах я учился очень прилежно и вел трезвую во всех отношениях жизнь; а с переходом на 3-й курс свихнулся в самом начале года в сторону и от медицины, и от трезвого образа жизни.

Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал, – вместо теорий голый эмпиризм.

Первым толчком к этому послужили лекции частной патологии и терапии профессора Николая Силыча Топорова – лекции по предмету, казавшемуся мне самым главным. Он рекомендовал нам французский учебник Гризолля и на своих лекциях очень часто цитировал его словами «наш автор». Купив эту книгу, начинающуюся, сколько помню, описанием горячечных болезней, читаю… и изумляюсь – в книге нет ничего, кроме перечисления причин заболевания, симптомов болезни, ее исходов и способов лечения; а о том, как из причины развивается болезнь, в чем ее сущность и почему в болезни помогает то или другое лекарство, ни слова. Нужно, впрочем, отдать справедливость лекциям Николая Силыча: для тех, кто не ожидал от него, как я, теории болезней, они могли быть даже поучительны, потому что, будучи большим практиком[20], он много говорил о виденных им интересных случаях.

Понятно, что и на лекциях фармакологии и рецептуры, читавшихся на латинском языке нашим деканом Николаем Богдановичем Анке, не было речи о том, как действуют лекарства на организм, – экспериментальная токсикология только что начинала развиваться в Германии; в самом счастливом случае говорилось лишь о том, против каких симптомов болезни употребляется данное средство; обыкновенно же описание заканчивалось фразой: такое-то вещество maxime laudatur[21] в таких-то болезнях. Хорошо еще, что Николай Богданович строго придерживался в своих лекциях рекомендованного им немецкого учебника Oesterlen’a. Приобретя таковой, как сделал я, изучение фармакологии можно было отложить до весны следующего года, т. е. до времени переходных экзаменов. Но для тех из товарищей, которые уже мнили себя будущими практиками, лекции по фармакологии были очень важны: они тщательно записывали диктовавшиеся рецепты и дозы; некоторые же

---

[20] Впоследствии, когда мы с Боткиным вспоминали наше студенчество, он всегда отзывался о Николае Силыче как об очень умном человеке и хорошем практике. Некоторую отсталость его он оправдывал словами якобы самого Николая Силыча: «Зачем нам термометры да микроскопы, была бы сметка, мы и без них нажили Топоровку» (на Мал. Молчановке были два дома Топорова, и эту улицу медики прозвали Топоровкой).

[21] Особенно высоко ценится (*лат.*).

прямо-таки увлекались приобретенным умением писать рецепты с подписью своего имени латинскими буквами.

Третий предмет на 3-м курсе читал профессор Басов (имени не помню), известный немцам тем, что первый в Европе сделал желудочную фистулу собаке (с какой целью, не знаю). Читал он по собственным литографированным запискам, где все относившееся к болезни было разбито на пунктики под номерами. Случалось, что звонок, кончавший лекцию, останавливал ее, например, на 11-м пункте перечисления болезненных симптомов. Тогда в следующую лекцию Басов, сев на кресло, почешет нижнюю губу, улыбнется и начинает: 12-е, т. е. начинает с пунктика, до которого была доведена предшествующая лекция. Нужно ли говорить, что чтения происходили без всякой демонстрации и без малейшего повышения тона. С таким же характером читалась им и офтальмология. Чтобы показать, как действует рука оператора при операции снятия катаракта, он завертывал губку в носовой платок, придавал этому объекту, зажатому в левой руке, шарообразную форму, а правой рукой производил все оперативные эволюции.

Таково было мое первое знакомство с так называемыми главными теоретическими медицинскими предметами, разочаровавшее меня в медицине как науке. К изучению их интереса у меня не было: руководствано всем трем предметам для предстоящих в будущем экзаменов имелись, и я стал заниматься посторонними вещами. В этом году, чуть не рядом с аудиторией, где читали Топоров, Анке и Басов, читалась Петром Николаевичем Кудрявцевым история реформации; и я прослушал весь этот курс с таким же восхищением, с каким читал позднее его «Римских женщин по Тациту», изданных Леонтьевым. Помню, как теперь, его худое бледное лицо, неопределенно устремленный в пространство, словно вдохновенный, взгляд и его тихую красивую речь, когда он описывал борьбу в душе монаха-аскета Лютера. Грановского я слышал всего один раз, но он произвел на меня далеко не такое впечатление, как Кудрявцев. Жаль, что я не записывал тогда своих впечатлений, – теперь, через пятьдесят лет, от них остались на душе только слабые тени.

Освободивши себя на 3-м курсе от занятий медициной, я принялся изучать психологию. К числу обычных воскресных посетителей семейства Визаров принадлежал студент естественного факультета Михаил Иванович Иванов, великий почитатель Рулльe. От него я узнал о существовании немецкого психолога Бенеке, сочинения которого были, так сказать, водворены в Московский университет Катковым, заинтересовали Рулльe и стали предметом увлечения почитателя последнего, Михаила Ивановича. Рассказы его возбудили и во мне интерес к психологии; я купил два сочинения Бенеке и засел за них настолько упорно, что погрузился по уши в философские вопросы, до того, что меня начали наконец дразнить у Дан. Дан. Шумахера, будто я доказываю по Гегелю, что свет и тьма одно и то же. Как бы то ни было, но, начитавшись Бенеке, где вся картина психической жизни выводилась из первичных сил души, и не зная отпора этой крайности со стороны физиологии, явившегося для меня лишь много позднее, я не мог не сделаться крайним идеалистом и оставался таковым вплоть до выхода из университета.

Однако увлечения философским идеализмом не спасли меня от увлечений в материальную сторону. Змеем-искусителем для Дм. Визара и меня был Аполлон Григорьев. Добрый, умный и простой, в сущности, человек, несмотря на несколько театральную замашку мефистофельствовать, с несравненно большим литературным образованием, чем мы, студенты, живой и увлекающийся в спорах, он вносил в воскресные вечера Визаров много оживления своей нервной, бойкой речью и не мог не нравиться нам, тем более что, будучи много старше нас летами, держал себя с нами по-товарищески, без всяких притязаний. Каким он был в своих писаниях, сотрудничая в «Москвитянине», я не знаю, но на вечерах у Визаров он не являлся ни врагом западников, ни отъявленным славянофилом, поклонялся лишь нравственным доблестям русского народа и любил даже декламировать некоторые соответственные стихи Некрасова, часто удивляясь, как мог он писать такие прелестные вещи при его внутреннем содержании. Пре и му щест венно же носился со своим приятелем Островским, считая его восходящей яркой звездой русского театра. В тот год,

когда Островский только что написал «Бедность не порок», он читал свое произведение, еще в рукописи, в доме отца Григорьева, куда и мы были приглашены Аполлоном.

В те времена известный любитель русских песен Тертий Иванович Филиппов (впоследствии государственный контролер) жил в Москве и открыл в ней, в сидельце винного погребка на Тверской улице, превосходного русского певца и гитариста. По его, видно, рекомендации погребок этот сделался местом паломничества любителей русской народности, особенно же тех из них, которые были не прочь выпить под звуки песен национального напитка; а к таким именно принадлежал наш руководитель. Здесь мы познакомились с приятелем Григорьева казен-нокоштным студентом Рудневым и через него с целой компанией его сподвижников, живших в Чернышевских номерах на Театральной площади. Тут за шумными разговорами шло разливанное море, просиживали до поздней ночи. Помню даже, что раз мы с Визаром вышли оттуда утром при солнечном свете провожать Руднева в студенческие номера в старом здании университета. Но это был, вероятно, последний акт моей кутежной жизни, имевший место как раз в период переходных экзаменов. Весь год я не брал медицинских книг в руки и должен был настолько приналечь на них во время экзаменов, что пришлось ставить пиявки против приливов крови к голове.

Теперь, когда покончено с главными эпизодами моей жизни на 3-м курсе, уместно будет упомянуть о моем знакомстве с домом Данилы Даниловича Шумахера, в который ввел меня Владимир Яковлевич Визар. Данила Данилович служил тогда в опекунском совете более крупным чиновником, чем В. Визар, и они были большими друзьями. Семью Шумахера составляли тогда двое – он сам и его жена Юлия Богдановна, родная сестра жены Грановского. По пятницам у них собирались постоянно: Владимир Визар, Александр Николаевич Афанасьев, студент Сергей Петрович Боткин и я. Здесь-то и началось мое знакомство с последним, перешедшее в дружбу уже во время нашего пребывания за границей. За чаем и ужином вечера проходили очень живо. Здесь сохранилось предание о Станкевичевском кружке; много говорилось об оставшихся членах оного, чудаке Кетчере и старшем брате Сергея Петровича, Василии Петровиче Боткине, о его причудах и роли в боткинской семье; бывала, конечно, речь и об университете, который был тогда в большой немилости у начальства. Душой веселья в этом маленьком кружке был Афанасьев. Он был вообще интересный рассказчик и уморительно смеялся собственным рассказам, как-то через свой огромный нос, и, служа в каком-то архиве, извлекая оттуда много потешного на усладу хозяйке, которая очень любила слушать веселые вещи. Помню, например, его рассказ о том, как императрица Елизавета ездила на богомолье, и о какой-то придворной процессии на лейб-пфердах.

На 4-м курсе я перестал кутить и стал исправно посещать клиники на Рождественке. Здесь нам давали больных на руки, как кураторам, и мы должны были вести историю болезни на латинском языке. Поэтому в наших историях фраза «Status idem»[22] встречалась, я думаю, гораздо чаще, чем следовало, тем более что нашими записями профессора едва ли интересовались, а тогдашние ассистенты в клинике и того меньше, так как им не было никакого дела до занятий студентов. Сверх кураторства, в терапевтической и акушерской клиниках было заведено дежурство студентов, но настолько необязательное для каждого, что мне, например (я был, впрочем, не студентом, а вольным слушателем), ни разу не довелось дежурить ни там, ни здесь.

Директором терапевтической клиники был знаменитый тогда московский практик Озер – особа, увешанная несметным количеством орденов, но не показывавшая и носа в свою клинику. За весь год он прочитал нам у постели больного одну лишь лекцию, да и ту на латинском языке. Клиникой заведовал его адъюнкт Млодзеевский.

В эту клинику мы приходили в 8 утра и ожидали профессора в комнате, служившей аудиторией. Млодзеевский садился перед нашими скамьями, рядом с ним, стоя, дежуривший

[22] «Состояние прежнее» (*лат.*).

в предшествующий день студент, и начинался доклад последнего о поступивших в его дежурство новых больных; при этом нужно было описывать телосложение и возраст больного, его образ жизни и занятия, вероятную причину заболевания, найденные признаки болезни и назначенное лечение. Засим начинался профессорский обход в сопровождении ассистента и студентов. Если в положении старого больного замечалась, со слов ассистента, важная перемена, то профессор проверял сказанное; а наиболее интересного из новоприбывших исследовал в нашем присутствии, ставил диагностику и назначал лечение. В этом собственно и заключалось все наше обучение. Существовавшему в те времена единственному способу (разумеется, кроме смотрения на языке и щупания живота и пульса рукой) исследования больного, выстукиванию и выслушиванию груди, нас учили в этой клинике на словах, во время обхода, предоставляя нам упражняться в обоих искусствах самостоятельно, без всякого руководства. С этой целью многие студенты ходили в клиники в послеобеденное время и немало мучили больных. Если же между больными женщинами случались молодые московские мещанки, то к любителям аускультации и перкуссии присоединялись любители женского пола и доводили этих пациенток своими галантерейностями до глупейшего жеманства и жантильничанья.

Директором хирургической клиники был Федор Иванович Иноземцев, самый симпатичный и самый талантливый из профессоров медицинского факультета. Он принадлежал к тем хирургам, которые ставят операцию не на первый план, а рядом с подготовлением больного к ней и последовательным за операцией лечением. Поэтому он проповедовал, что хирург должен быть терапевтом. На его клинических лекциях мы впервые услышали, что в известные эпохи всегда господствует определенный genius morborum[23], составляющий основную черту всех вообще заболеваний. Так, во времена Брусса господствовал, по его словам, воспалительный тип, а в настоящее время наблюдается преимущественно плохое питание тела с катарами слизистых путей, следовательно, страдает у всех вообще людей заведующая питанием узловатая система. Последнюю мысль Ф. И. вынес, очевидно, со школьной скамьи; но как он дошел до связи катаров с страданиями симпатического нерва, я не знаю. Во всяком случае, он веровал упорно в эту мысль и упорно кормил всех пациентов своей клиники нашатырем как антикатаральной панацеей, говоря иногда на лекциях, что его даже дразнят «салманикой» (в рецептах нашатырь назывался по-латыни sal ammoniacum[24]). Хотя мысль о влиянии симпатического нерва на питание тела и была в ту пору скорее расшатана, чем доказана физиологическими исследованиями, но, как хирургу и старому практику, ему было извинительно не знать этого; следовательно, составленная им теория была не хуже других медицинских теорий и, во всяком случае, свидетельствовала в Ф. И. мыслящего врача, задающегося серьезными вопросами. В ту же сторону говорила и изданная им книга о молочном лечении.

С виду скорее француз, чем русский (он был, кажется, женат на француженке), живой по природе, он иногда увлекался на клинических лекциях, и тогда фразы получали у него порывистый, восклицательный характер и произносились с французским шиком. Хорошее впечатление от всей его фигуры и речей усиливалось крайне ласковым и участливым отношением его к больным, для которых у него не было другого имени, как дружок или мой милый.

На лекциях оперативной хирургии он был совсем другой человек, читал скорее монотонно, чем живо. Кафедры топографической анатомии тогда не было, и ему приходилось описывать послойную топографию различных областей тела. Каков он был

---

[23] Предрасположенность к болезням (*лат.*).

[24] Говорили, что непоколебимость веры Ф. И. в нашатырь поддерживалась его помощниками по медицинской практике, называвшимися «молодцами Иноземцева», которым он давал хлеб и которые постоянно приносили ему известия о чудесах этого средства. Правда ли это или нет, я не знаю; но верно то, что бедный Ф. И. не умел выбирать людей и был окружен в клинике неважными помощниками.

хирург, нам не довелось узнать, потому что в этом году не случилось ни одной важной операции, а не важные он отдавал своему адъюнкту.

Адъюнктом его был Иван Петрович Ма тю-шен ков, хорошо известный нам по амбулаторным приемам при клинике Иноземцева и как лектор малой хирургии. Из всех наших учителей он один был способен производить на студентов комическое впечатление резким контрастом между его фигурой и ухватками грубого, мало образованного бурсака и видом учености, который он налагал на себя в нашем присутствии, при исполнении им официальных обязанностей. Маска эта так не шла к его внутреннему содержанию, что вместо задуманной ученой серьезности получалась гримаса угрюмой озабоченности, переходившей минутами в свирепость (был, впрочем, по природе не злым человеком). Особенно резко сказывались эти контрасты на амбулантных приемах, где он являлся деятелем и учителем. Амбулаторией служила небольшая комната без скамеек, что побуждало студентов становиться в два ряда коридором, по всей длине комнаты, прямо от входной ее двери. Во главе коридора стоял стол с инструментами и И.П. с полотенцем через плечо, хмурым, озабоченным лицом и наклоненной головой. Больных впускали в коридор поодиночке, и в промежутке между их входами И. П. ходил по длине коридора взад и вперед, рассказывая нам, что мы видели и что он сделал. Когда в коридоре появлялся больной с ногтоедой на руке, что случалось наиболее часто, И. П., осмотрев руку и возвращаясь от больного к столу с инструментами, говорил походя, ни на кого не глядя: «Тенеатис форциус» (выписываю эту фразу нарочно по-русски, чтобы читатель понял, как И. П. говорил по-латыни), ближайшие к больному студенты становились по его бокам, а И. П., держа правую руку за спиной, вновь подходил к больному, говорил ему ласково: «Покажи, матушка,[25] руку», делал знак студентам головой, те схватывали больного, и в комнате раздавался обыкновенно раздирающий душу крик. После этой операции И. П. неизменно говорил: «В таких случаях, матушки, всегда нужно прорезать палец до кости».[26]

На лекциях малой хирургии ему следовало бы читать о вывихах и переломах, но об этом важном предмете речи не было, и время посвящалось больше всего накладыванию бинтом на фантоме различных повязок.

Много позднее мне довелось слышать немало комичного о его ученом путешествии за границей, как он вздумал было изучать воспаление слизистых оболочек и остановился на том, что пустил кролику в глаз уксусной кислоты; как он посещал будто бы в Брюкселе (его собственное наименование этого города) Дондерса, жившего, однако, в Утрехте. О нас с Боткиным, когда мы уже были профессорами, он отзывался так: поковыряют у лягушки около гузенной косточки и печатают.

Директором акушерской клиники был профессор Кох. Посещение ее не было обязательно для студентов – туда допускались поодиночке и по охоте только дежурные. Я не был таким охотником и в клинике не был ни разу. Поэтому помню проф. Коха лишь как лектора. Насколько можно судить о профессоре по его лекциям, Кох был, я думаю, самым лучшим или по крайней мере самым дельным из тогдашних профессоров медицинского факультета. Лекции его имели исключительно деловитый характер и произносились с тем акцентом, по которому слушатель невольно узнавал в рассказчике мастера своего дела.

В этом году, кроме посещения клиник, мне и моим ближайшим товарищам, Юнге и Эйнбродту, удалось, благодаря третьему товарищу, милому, доброму Пфёлю, упражняться

---

[25] Он имел обыкновение говорить нам на лекциях «матушки», а в одиночке больным – «матушка», поэтому и прозывался у студентов «матушкой».

[26] В каникулы, при переходе на 5-й курс, мне довелось в деревне явиться два раза учеником И. П. Первый раз на бедной милой Настеньке, которая страдала огромным карбункулом на пояснице, мучившим ее до моего приезда 2 недели. Она, бедная, получила от меня два огромных крестообразных разреза и вынесла боль геройски. А другая женщина с ногтоедой пальца бросилась после разреза по рецепту И. П. на землю и стала кататься с криком «Убил, убил!». Насилу ее успокоили.

на трупе в хирургических операциях. Отец Пфёля был главный доктор в военном госпитале (в Лефортове) и давал сыну каждое воскресенье труп и инструменты для хирургических упражнений. На них-то и приглашал нас молодой Пфёль. Помню, что занимались мы больше всего ампутациями, перевязкой артерий в различных областях и катетеризацией; по окончании же занятий я неизменно производил операцию вылущивания бедра. Иноземцев каким-то образом узнал об этом и предрекал, что, значит, мне придется когда-нибудь произвести эту страшную операцию на живом. К счастью, предсказание это не сбылось.

В этом же году я убедился, что не призван быть медиком, и стал мечтать о физиологии. Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было, а вкус вдумываться в эти загадки с целью различения в них существенного от побочного – эту главную приманку истинных любителей медицины[27] – развиться еще не мог. С другой стороны, я стал знакомиться в этом году с физиологией из прелестнейшей книги Бергмана и Лейкарта «Anatomischphysiologische Uebersicht des Thierreichs»[28]. Из всех книг студенческого времени я сохранил ее одну и до сих пор считаю это сочинение прелестным. Тогда же оно произвело на меня такое впечатление, что я заинтересовал им семью Визаров и раз даже читал там род лекции о постепенном осложнении жизненных проявлений.

Зимой 1855 г., перед масленицей, нас, четверокурсников, собирают в какой-то аудитории старого университета, является декан и объявляет, что по высочайшему повелению все мы должны будем держать выпускной экзамен и отправляемся затем на войну, а на второй неделе поста скончался император Николай, и было объявлено, что выпуску будут подлежать лишь казеннокоштные.

Клиники 5-го курса помещались в Екатерининской больнице на Страстном бульваре. Терапевтической заведовал проф. Варвинский и адъюнкт его Пикулин, а хирургической проф. Поль, адъюнкт Попов и старший ассистент Новацкий.

Варвинский, сколько помню, не читал клинических лекций и занимался тем, что, слушая отчеты кураторов о болезни порученных им больных, поправлял и разъяснял ошибки в этих отчетах. Помню также его нехорошую манеру относиться с усмешкой к причудам больных и к ошибкам студентов в определении болезни. Этой манерой он приводил многих студентов в большой конфуз. Особенно страдал от него один из товарищей, милейший Коробкин, кривой на один глаз и заика. По-настоящему профессору следовало бы щадить бедняка и не вызывать его на пытку; а Варвинский словно наслаждался, когда тот, красный, задыхающийся, силился и шипел над больным. Любил он также беседовать со студентом Фишером, после того как последнему не удалось раз распознать перемежающуюся лихорадку. Никулин был с своим патроном в контрах и ходил в клинику лишь по вечерам с единственною, кажется, целью – учить нас аускультации и перкуссии. Студенты того времени могли выучиться этому искусству только у него.

Хирургическая клиника проф. Поля была, я думаю, чуть не на треть наполнена детьми с каменною болезнью, так как Поль был большой любитель литотомии по способу брата Иакова и делал эти операции всегда сам, предоставляя остальные своему адъюнкту Попову.

---

[27] Всеми этими качествами обладал в высшей степени С.П. Боткин, когда уже был профессором. Для него здоровых людей не существовало, и всякий приближавшийся к нему человек интересовал его едва ли не прежде всего как больной. Он присматривался к походке и движениям лица, прислушивался, я думаю, даже к разговору. Тонкая диагностика была его страстью, и в приобретении способов к ней он упражнялся столько же, как артисты вроде Ант. Рубинштейна упражняются в своем искусстве перед концертами. Раз, в начале своей профессорской карьеры, он взял меня оценщиком его умения различать звуки молоточка по плессиметру. Становясь по середине большой комнаты с зажмуренными глазами, он велел обертывать себя вокруг продольной оси несколько раз, чтобы не знать положения, в котором остановился, и затем, стуча молотком по плессиметру, узнавал, обращен ли плессиметр к сплошной стене, стене с окнами, к открытой двери в другую комнату или даже к печке с открытой заслонкой.

[28] «Анатомически-физиологический обзор животного царства» (*нем.*).

Проф. Поль был в то время уже очень пожилой человек, и клиникой заведовал собственно его адъюнкт; о проф. Попове могу сказать только, что он не был заражен сентиментальностью: ругал больных даже во время операции и раз на моих глазах отвесил фельдшеру полновесную пощечину.

Сверх клиник, на 5-м курсе читались патологическая анатомия и гигиена. Содержания лекций патологической анатомии А. И. По лу ни на не помню, знаю только, что он показывал много патологических препаратов и учил процедуре вскрытия трупов. Насколько он был полезен для студентов, судить не берусь; но своим подчиненным он, очевидно, умел внушить любовь к знанию: тогдашний фельдшер его Аристархов сделался впоследствии доктором, и знаниями увлекся даже сторож при кабинете патологической анатомии, старый отставной солдат Иван Иванович, – он обучал студентов катетеризации. Что касается, наконец, до гигиены, то достаточно будет сказать, что такого позорного профессора, как К., не бывало, я думаю, ни в одном из университетов. До нашего поступления на 5-й курс он был одним из субинспекторов и превратился каким-то чудом сразу в гигиениста. Говорили, что это было дело рук попечителя, генерала Назимова.

В заключение должен признаться: зная, что не буду медиком, я относился в этом году к медицинским занятиям без интереса, оттого и мои воспоминания о 5-м курсе так скудны.

Оканчивая курс и зная за собой много грехов по части медицины, особенно практической, мне и в голову не приходило держать экзамен прямо на доктора, но к этому принудил меня наш декан Н. Б. Анке, говоря, что этого непременно требует факультет. Я этому поверил, но это была неправда. На доктора подали, вероятно по его же настоянию, два его любимца – Юнге и Эйнбродт, немцы; а между медицинскими профессорами двое, Глебов и Басов, были русофилы и не любили, когда отдавалось в чем-либо предпочтение немцам перед русскими, и были на экзаменах строги. Поэтому-то Анке и нужно было присоединить к двум немецким кандидатам хоть одного русского, дабы смягчить этим экзаменаторов. Они, может быть, и смягчились, да не совсем – Глебов все-таки провалил Эйнбродта, хотя экзамены были очень просты, отличаясь от лекарских (как, впрочем, и теперь) лишь тем, что докторанта заставляли ответить вопроса на два лишних.

В заключение нельзя не вспомнить о крупных московских событиях, имевших место в промежуток времени моего студенчества (1850–1856). Время это было особенно богато ими.

Известно, что, когда революционное движение 48 и 49-го годов приблизилось к нашим границам в Пруссии и Австрии, император Николай нашел нужным принять экстренные меры против проникновения к нам вредных идей с запада, и одною из таких мер явилось сокращение в Московском университете (была ли эта мера распространена и на другие университеты, я не знаю) числа студентов на всех факультетах, кроме медицинского, до трехсот. В 50-м году мера эта была уже в ходу, и ректор университета (Альфонский) был уже коронный. Позднее (в каком году, не помню) была закрыта кафедра философии, на которой сидел Катков, и вместо этого ультраблагонамеренного патриота логику и психологию стал читать протоиерей Терновский. В то же время стали ходить слухи, будто в университет назначен какой-то полковник обучать студентов артиллерии и фронту. Говорили даже, будто в университет будут поставлены две пушки. Некоторые из студентов этим слухам, может быть, и верили, но большинство относилось к ним иронически. Так, некоторые из товарищей советовали мне, шутя, выступить кандидатом на обучение студентов маршировке. Могу вообразить, какое волнение вызвали бы теперь подобные слухи и меры между студентами, но тогда студенчество еще не шевелилось сплоченной массой. Неудобства современного положения оно, конечно, сознавало, но разговоры об этом велись, так сказать, под сурдинку, в тесных товарищеских кружках. У меня, был, например, между приятелями поляк Б., и мы с ним нередко рассуждали о современном положении вещей – я горевал, а он держался мнения, что чем хуже, тем лучше.

На торжество столетнего юбилея университета (1855) попасть я не мог, потому что был вольнослушателем и мне было сказано, что являться на это торжество я мог бы лишь в общедворянском мундире, а у меня и цивильное-то платье было не из блестящих. Целый год

мне пришлось, например, прощеголять в пальто, из-за цвета которого меня звали у Визаров чижиком. Тогда в моде на сукно был «цвет лондонского дыма», и мне захотелось сшить себе пальто такого цвета; но я имел неосторожность покупать сукно под вечер в темной лавке и получил вместо лондонского дыма цвет чуть ли не бильярдной покрышки.

В этом же году умер Тимофей Николаевич Грановский. Его отпевали в университетской церкви, и я помню, что подле его гроба стояла женщина вся в черном, неподвижная как статуя во все время службы (жена его была урожденная Мюльгаузен, лютеранка). Гроб его провожали тысячи, но далеко не так торжественно, как провожали позднее в Петербурге Тургенева.

Кажется, в 1853 году был пожар Большого московского театра. Мы с Юнге стояли во время пожара подле теперешней гостиницы «Континенталь» и были свидетелями спасения человека с крыши театра. Пожарные лестницы до этой крыши не доставали, и спас стоявшего на ней рабочий, взлезший на крышу (сначала, разумеется, по лестнице) по водосточной трубе. Самую процедуру спасения мы видеть не могли, потому что она происходила с фасада, обращенного к пассажам, но были свидетелями, как кому-то пришла в голову мысль собирать деньги смельчаку. К несчастью, деньги оказали ему плохую услугу: он опился на них до смерти.

Когда я был на 4-м курсе, семья наша лишилась нашей милой кроткой матери. Настрадалась ее кроткая душа в жизни немало, но Бог послал ей по крайней мере тихую и быструю кончину. Известие о ее смерти я получил неожиданно. Так и не довелось ей, бедной, дожить до времени, когда ее сын пошел по столь желанной ею ученой части.

По духовному завещанию отца все имение передавалось матери в полное ее распоряжение до кончины, и воля отца была уважена. По кончине матери братья выделили сестрам все костромское имение, а симбирское решили не делить, прибавив к условию пункт, что желающий тем не менее выделиться получает 6000 руб. и отказывается от дальнейших прав на отцовское наследство. Имея в виду отправиться учиться за границу, я пожелал быть выделенным на сказанном условии и получил кроме того вольную для моего верного товарища и слуги Феофана Васильевича. Так как выпускные экзамены кончались тогда в начале июня, ехать за границу было поздно, поэтому на лето я отправился проститься с родными в Теплый Стан. Здесь мне пришлось во второй и последний раз в жизни оказать медицинскую помощь человеку (разрез карбункула бедной Настеньке был первым таким случаем). У крестьянина застрял в пищеводе большой кусок проглоченного хлеба, и он пришел ко мне в большом испуге. За неимением зонда я выпросил у сестер из корсета пластинку китового уса, навязал на конце ее кусок губки, смочив ее деревянным маслом, и протолкнул застрявший кусок. Бедный крестьянин с радости бросился мне в ноги. Конец лета я провел у Визаров на даче, видел въезд императора Александра II в Москву перед коронацией и в самый день коронации гулял с Визарами по иллюминованной Москве. Помню еще, что перед отъездом за границу купил по совету Феофана Васильевича золотые часы, считавшиеся им необходимою принадлежностью барина.

Ученье за границей (1856–1860)

Получив из опекунского совета деньги, я отдал их на хранение милому, доброму Владимиру Яковлевичу Визару, и он же высылал мне частями за границу. Прожил я там на эти деньги три с половиной года, с осени 1856 года по февраль 60-го. Помню, что перед отъездом туда я получил в конторе московского банкира Ковли аккредитив в 1500 руб., а в Берлине получил по этому аккредитиву 1575 талеров. Таков еще был тогда почет русскому рублю – и это вслед за Крымской кампанией!

Выехал я из Москвы в Петербург на третий день коронации Александра II с паспортом «по болезни» и с уплатой 50 руб. за полгода – тогда еще не были отменены паспортные порядки николаевского времени. Из Петербурга ходили тогда в Щецин два казенных пассажирских парохода, и на одном из них я отправился. Начало плавания было не совсем

удачно. Не отъехали мы от Кронштадта и двух часов, как пароход обернулся назад, откуда вышел, и нам объявили, что до вечера можем отправиться в город, так как пароход будет догружаться углем. В Кронштадте мне довелось быть свидетелем очень характерной сцены. На одной из городских площадей, вижу, стоит толпа русских матросов зрителями борьбы двух бойцов – пьяного русского и трезвого иностранного матроса; русский стоит в боевой позе, а иностранец схватил его за обшлага расстегнутой шинели под горло; в то же мгновение через толпу протискиваются, очевидно, два товарища иностранца, – один огромного роста мужчина, – разнимают бойцов и свободно выводят своего товарища из толпы. При этом невольно вспомнился случай несостоявшегося кулачного боя, виденный мною зимой на Москве-реке, между Каменным и Крымским мостами. Бой только что завязался между мальчиками противоположных сторон, как от Каменного моста стала приближаться к толпе более чем в сто человек невзрачная фигура полицейского солдата с поднятой в виде угрозы палкой. Завидев этого блюстителя благочиния, вся толпа разбежалась.

Как бы то ни было, к вечеру мы догрузились и прошли весь путь до Щецина без приключений.

В Берлине лекции еще не начинались, поэтому я воспользовался свободным временем и съездил в Дрезден; прошелся пешком по Саксонской Швейцарии и оттуда через Прагу съездил в Вену. По дороге из Берлина в Дрезден случилось забавное приключение. В маленьком четырехместном отделении тогдашних немецких вагонов насупротив меня сидел старичок и средних лет дама – немцы. Разговаривая друг с другом, они очень часто присматривались ко мне с таким любопытством, что невольно возбудили во мне желание сошкольничать. Долго старичок крепился, но наконец не выдержал и вступил в разговор. Узнав с первых же слов, что я иностранец, он заметил вопросительно, что я приехал из-за моря и не из Южной ли Америки. На это я ответил: действительно из-за моря, но не из Америки, а из Персии, по Каспийскому морю. Спутники мои, конечно, обрадовались случаю получить достоверные сведения о Персии, какова там природа и люди. На все это я давал, вероятно, удовлетворительные для них ответы и даже продекламировал для ознакомления с звуками персидского языка стихи из повести Марлинского «Мулла-Нур», выданные мною за стихи Фирдуси:

Поду ль, Гюдуль хом гяльды
Арондындан ягыш гяльды.
Гялнн, алга дур сана
Чюмганым дальдур сана.

Когда меня, однако, спросили, как называются в Персии денежные единицы (не известные мне и доселе), пришлось увернуться непониманием якобы вопроса и ответить, что обращается, как и у них, золото и серебро. К счастью, добрейший старичок выручил, спросив, не рупии ли. Я, конечно, согласился, и дело кончилось благополучно. При расставании советовали мне остановиться в отеле Berliner Hof и, должно быть, справились там, под каким именем я записан, потому что дня через два встречаю вдруг на улице мою бывшую спутницу, и она приветствует меня, смеясь, словами: «Здравствуйте, господин русский», на что я ответил: «Нет, сударыня, русифицированный персианин».

Нужно ли говорить, что я восхищался дрезденской галереей, невиданными дотоле горами милой Саксонской Швейцарии, гулял по венскому Пратеру, был в Stephanskirche[29] и пр. Знаю, что все это было описано мною с большим энтузиазмом в письме к московским друзьям; но это было сорок семь лет тому назад, и как ни отчетливо вспоминаются картины этого далекого прошлого, но перечувствованного в то время – увы! – не воскресить.

---

[29] Церковь Св. Стефана.

Вернувшись в Берлин, я нашел в нем С. П. Боткина, вскоре сделавшегося самым близким для меня человеком. Он уехал за границу на полгода раньше меня и теперь приехал в Берлин вслед за Вирховым, только что переселившимся из Вюрцбурга в прусскую столицу, в устроенный для него анатомо-патологический институт.

Первые мои шаги в лабораторной жизни были очень оригинальны. Нужно заметить, что в то время в Московском университете медикам хотя и читалась химия, но в химическую лабораторию их не допускали. Поэтому, когда я поступил в Берлине в частную химическую лабораторию приват-доцента Зонненштейна для изучения качественного и количественного анализа, то не умел, что называется, даже мыть химическую посуду, и мне, докторанту, пришлось слушать наставления от служителя лаборатории, как обращаться с огнем, посудой, паяльной трубкой и проч. Но, видно, у служителя рука была легкая – делю скоро наладилось, и месяца через два можно уже было перейти в лабораторию медицинской химии при анатомо-патологическом институте.

В Берлине я пробыл год (по осень 1857-го), и почти все это время ушло на учение в двух лабораториях и слушание лекций: Магнуса – по физике, Гейнр. Розе – по аналитической химии, Иоганна Мюллера – по сравнительной анатомии половых органов позвоночных, дю Буа-Реймона – по физиологии и Гоппе – по гистологии. Однако в конце летнего семестра 1857 г. стал собирать в свободные минуты опытный материал для задуманной диссертации и литературу вопроса.

Поехал я за границу с твердым намерением заниматься физиологией, поэтому по приезде в Берлин меня, конечно, всего более потянуло на физиологические лекции и в физиологическую лабораторию; но в этом отношении пришлось несколько разочароваться. Трижды знаменитый Иоганн Мюллер продолжал быть официальным представителем кафедры физиологии, но давно уже перестал заниматься этой наукой, лекции по физиологии читал только в летние семестры, в три месяца весь курс, и учеников-физиологов не принимал. Рядом с ним стоял его знаменитый ученик дю Буа-Реймон; но он был тогда еще экстраординарным профессором; лекции его были не обязательны для студентов и не посещались ими, поэтому он читал, что хотел, по собственному выбору. Таким образом, в зимний семестр 56-го года читался, в сущности, курс электрофизиологии с очень беглыми экскурсиями в иннервацию сердца, кишок и дыхательных движений. Учеников у него не было, да и не могло быть, потому что лаборатория его состояла из единственной комнаты, в которой он работал сам (и куда доступа никому не было), и смежного с нею коридора с окном и единственным простым столом у окна. Тем не менее при посредстве дерптского доктора Купфера, пожелавшего познакомиться на деле с гальваническими явлениями на мышцах и нервах, мне удалось заняться в коридоре, вместе с Купфером, установкой зауэрвальдовского гальванометра для физиологических целей, проделать опыты с мышцами и нервами лягушки и повторить, по желанию профессора, на угре только что опубликованные тогда опыты Пфлюгера с спинномозговыми рефлексами. На все это потребовалось, конечно, так мало времени, что главным местом берлинского учения стала для меня только что основанная при институте Вирхова лаборатория медицинской химии, с ее молодым диригентом Гоппе-Зейлером, милым, добрым и снисходительным учителем, не делавшим никакой разницы между немецкими и русскими учениками.

Переход из холодного коридора в теплую благоустроенную лабораторию Гоппе был для меня очень радостным событием; но лекциям дю Буа и занятиям в коридоре я все-таки много обязан: познакомив с областью явлений, о которых у нас в России и помысла не было, они давали в руки средство двигаться свободно в обширном классе явлений, составивших позднее общую физиологию нервов и мышц. У Гоппе-Зейлера занятия состояли главным образом в изучении состава животных жидкостей и были настолько приведены в систему, что ученье шло легко и быстро. Нам, русским, как действительно начинающим, специальных тем он не давал, но выслушивал охотно приходившие в голову планы и помогал советом и делом осуществлять их, если тема оказывалась разумной и удобоисполнимой. Так, он вполне одобрил задуманный мною план заняться острым отравлением алкоголем, естественно,

вызванный в моей голове ролью водки в русской жизни, и в его же лаборатории были произведены мною: исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь, измерение количества выдыхаемой пьяным животным CO_2, влияние алкогольного отравления на температуру тела (в артериях, венах и прямой кишке) и опьянение вдыхаемыми парами алкоголя.

Теперь несколько слов о профессорах, которых я слушал в Берлине, об их лекциях – несколько слов потому, что профессоров я видел лишь издали, на кафедре, и лекции, которые мне пришлось слушать, при всей их внутренней ценности были, в сущности, элементарны.

Магнус считался превосходным лектором и крайне искусным экспериментатором. Позднее, в Гейдельберге, я слышал рассказ Гельмгольтца в его лаборатории, как Магнус приготовлял для своих лекций опыты. По словам этого рассказа, он всегда старался придать опыту такую форму, чтобы при посредстве натяжения нитки или удара или вообще какого-нибудь простого движения рукой приводить в действие подзываемый снаряд или вызывать желаемое явление. Я попал на штатный курс экспериментальной физики для медиков и фармацевтов, читавшийся в течение зимнего семестра. Курс был элементарный (в 6 месяцев полный курс физики), но был обставлен очень роскошно опытами, делавшимися с такой быстротой, что не мешали плавности чтения. Угольная кислота в какую-нибудь четверть часа превращалась у него в комья рыхлого снега, разбрасывавшегося между слушателями по аудитории.

Гейнрих Розе был, как известно, знаменитый специалист по аналитической химии и читал эту крайне полезную, но, в сущности, скучноватую материю с величайшим увлечением. Больно было видеть, с какой неделикатностью держали себя немецкие студенты на лекциях бедного старика, страдавшего сильным геморроем. Он был очень высокого роста, читал стоя и по временам должен был сильно приседать за кафедрой по причине болезни, что и вызывало всегда хихиканье слушателей.

Прежде чем говорить о Мюллере, нужно заметить, что, приехав в Берлин и намереваясь слушать университетские лекции, я думал, что сделать это иначе нельзя, как поступив в университет студентом, и стал таковым – представлялся вместе с прочими вновь поступившими студентами тогдашнему ректору Тренделенбургу, выслушал от него наставительную речь и, подобно всем прочим, удостоился рукопожатия. Затем внес казначею плату за все перечисленные выше курсы и между прочим плату за занятия в сравнительно-анатомическом музее Мюллера. С квитанцией от казначея нужно было являться к профессорам, и они выдавали разрешительные карточки. Таким образом, мне пришлось явиться к Мюллеру в его Sprechstunde[30] и получить от него разрешение посещать музей и заниматься для начала остеологией рыб. Из этих посещений, однако, ничего не вышло: в комнате, куда меня впускал служитель, кроме меня, никого не было; Мюллер туда не входил, а ходить к нему с вопросами я не решался и вскоре совсем оставил эти посещения, да и самую мысль о сравнительной анатомии. Тем не менее из естественного желания послушать такую знаменитость, как Мюллер, я записался в летний семестр 57-го года на его лекции. Нужно признаться, на душе у меня все еще таилась вынесенная из Москвы наивная привычка думать, что всякий знаменитый профессор – непременно блестящий оратор, и я ожидал услышать в этой аудитории исполненную широких обобщений увлекательную речь, а вместо того услышал чисто деловую речь, с показыванием чертежей и спиртных препаратов. Это был, впрочем, последний год славной жизни Иоганна Мюллера; и на лекциях он имел вид усталого, болезненного человека; во всех его движениях и в самой речи чувствовалась какая-то нервность; читал он тихо, не повышая голоса, и только глаза продолжали гореть тем неописуемым блеском, который вместе с славным именем ученого стал историческим.

То, чего я ожидал от лекций Мюллера, проскальзывало по временам в лекциях его

---

[30] Приемные часы (*нем.*).

знаменитого ученика дю Буа-Реймона; говорю «проскальзывало» потому, что аудитория не располагала к красноречию – на его лекциях этого семестра было счетом всего 7 человек и между ними двое русских, Боткин и я. Во всяком случае, лекции его и по содержанию, и по исполнению были привлекательны. Сюжет был для нас совсем новый; речь профессора текла плавно, свободно, и немецкий язык звучал у него очень красиво. Особенно памятна мне его лекция о быстроте распространения возбуждения по нервам. Тут он положительно увлекся и рассказал с жаром всю историю этого открытия: сомнения Мюллера в возможности измерить столь быстрый процесс, его собственные мысли, как можно было бы приступить экспериментально к этому вопросу, и, наконец, решение задачи его другом, великим учеником того же Мюллера, Гельмгольтцем. В другой раз, не помню по какому поводу, он завел речь на лекции о человеческих расах и угостил нас, своих русских слушателей, замечанием, что длинноголовая раса обладает всеми возможными талантами, а короткоголовая, в самом лучшем случае, – лишь подражательностью. Если при этом имелись в виду россияне вообще, то суждение было для немца еще милостиво, потому что в эти годы нам не раз случалось чувствовать, что немцы смотрят на нас как на варваров. Да и могло ли быть иначе – ни в науке, ни в промышленности россияне не проявляли еще самостоятельности, а наших короткоголовых писателей Тургенева, Достоевского и Толстого в Германии еще не знали.

В течение года, с приездом в Берлин двух новых воспитанников Московского университета, образовался маленький товарищеский кружок. Приехал милый Беккерс, бывший хирургом при Пирогове в Севастопольскую кампанию, и мой однокурсник Юнге. Первый имел заниматься хирургией, а второй – офтальмологией. Позднее, по возвращении из-за границы, все мы четверо попали профессорами в Петербургскую медико-хирургическую академию. У меня с Боткиным занятия продолжались с утра до 6 вечера (с одним часом перерыва для обеда в медицинском ресторане Тёпфера). После занятий компания очень часто сходилась вместе, с заслуженным в течение дня правом веселиться, и веселилась, потому что ресурсов на веселье для молодого человека было и тогда в Берлине немало. Душою кружка и запевалой был жизнерадостный Боткин. Его любили даже старые немки, а о молодых и говорить нечего. Он и Беккерс были большими любителями немецкой музыки, а я был италоман; поэтому два раза в неделю, по вечерам, они неизбежно таскали меня на концерты Либиха у Кроля в Тиргартене, якобы для исправления моего дурного музыкального вкуса. Однако я остался италоманом, потому что концерты имели ультраклассический характер и Либих дирижировал с ультранемецким спокойствием. Здесь, кстати заметить, что, отправляясь за границу, я мечтал побывать непременно в прекрасной Италии; поэтому отыскал в Берлине учителя итальянского языка (итальянского рефюжье, бывшего полковника папской службы, с-ра Каландрелли) и брал у него уроки.

За этот год побывали мы, я думаю, во всех увеселительных заведениях Берлина, не исключая и так называемых шпиц-балов, где оставались, однако, зрителями, не принимая участия в танцах. По своему содержанию это то же, что петербургские танцклассы того времени (напр., упоминаемый Щедриным в его очерках знаменитый танцкласс Марцинкевича); но какая страшная между ними разница: там шум, гам и танцы чуть не с кувырканьем, а здесь (по крайней мере в танцевальной зале) полнейшее благочиние. Заиграет, напр., музыка прелюдию к вальсу, и вся публика – пар, я думаю, сто – выстроится сама собой попарно друг за другом вдоль стены. Затем дирижер танцев взмахом своей треуголки отделяет первую группу танцоров, пар в 25, от остальных, и отделенные начинают действовать, а остальные ждут смирно своей очереди, пока первая группа кружится. По новому взмаху треуголки танцевавшие становятся в хвосте, и начинает действовать вторая группа, и так до конца. У нас привыкли подсмеиваться над немецкой выдержкой и аккуратностью; но что же, как не ruhiges systematisches Verfahren[31] во всем, сделала в конце

[31] Спокойная систематическая методичность (*нем.*).

концов из немца первого человека в Европе?

В Мюнхене, осматривая достопримечательности, мы были еще горожанами, но за его пределами преобразились в горных пешеходов с котомками за плечами и с твердым намерением отречься, по настоянию В., от русской изнеженности в виде проводников, вкусной еды и мягкой постели на пути. Зная по Бедекеру, где следует идти пешком и где можно дешево проехаться в Stellwagen'е (род очень скверного дилижанса), мы колесили по Тиролю, я думаю, дней десять и заплутались в горах только один раз, да и то не без пользы, так как побывали в захолустной тирольской деревушке. Выручили нас из затруднения пастухи, указавшие тропинку, которая вела в деревню, лежавшую, как оказалось, на скотопрогонной дороге. Пришли мы туда на постоялый двор усталые и голодные, поужинали – дело было уже к вечеру – бифштексом во всю сковороду средней величины, с горою картофеля, проспали ночь на сеновале, утром напились кофе (правда, очень скверного) и за все это заплатили гульден, т. е. 60 коп. Вот какие еще были тогда места и люди в Европе!

Из Мюнхена первым нашим этапом была горная солеварня Галлейн, где за очень небольшую плату можно было прогуляться по подземным галереям, спускавшимся сверху солеродной горы до ее основания. В шахтах, по которым водили посетителей, был очень оригинальный способ сообщения верхних этажей с нижними. На посетителя надевают кожаные штаны, на правую руку кожаную рукавицу, а в левую дают зажженный фонарь. В этом снаряжении посетитель садится у входа в темную шахту верхом на бревно, упираясь ногами в землю и ухватив правой рукою канат; затем раздается команда проводника освободить ноги, и седок неудержимо летит в темную пропасть, скользя по гладкому, как стекло, бревну. При конце спуска сильно наклонное бревно делает, должно быть, постепенный выгиб к горизонту, потому что скольжение, замедляясь само собой, почти совсем останавливается. Это была, конечно, самая приятная часть подземной прогулки; но в конце ее, в самом нижнем этаже шахт, нас ожидали новые сюрпризы: огромная пещера с подземным озером, иллюминованная десятком шкаликов, прогулка по озеру в лодке и высадка на узкоколейную железную дорогу, по которой вас мчат в непроницаемом мраке невидимые силы и выносят внезапно на светлый вольный воздух.

Если бы у меня была хорошая привычка вставать летом с восходом солнца, то я, конечно, вспоминал бы очень часто прогулку по Тиролю в прохладные часы летнего утра, без забот и принуждения, с каким-то чувством свободы на душе. Но все это было так давно, и на душу легло с тех пор столько других схожих, но более красивых впечатлений, что из всего этого странствования по Тиролю в памяти остался только Берхтесгаден, его несколько мрачное, но все же очень живописное озеро (Кенигзее), с нарядными бойкими лодочницами, и красивые снеговые горы на заднем плане картины. До Мерана шли и ехали по заранее составленному маршруту, а в Меране встретились с вюрцбургским профессором ботаники и по его совету свернули вправо к перевалу через Альпы, в долину Комского озера. Помню, что мы ночевали у подножия горы, встали с восходом солнца и стали подниматься в 6 утра. В 12 часов были уже на вершине перевала, выше линии вечных снегов, с панорамой снеговых гор вокруг, и на границе страстно желанной мною Италии. Помню, какое радостное чувство охватило меня при мысли, что я уже в Италии, и как я пустился бежать на видневшуюся невдалеке почтовую станцию. Здесь уже были другие лица, другая одежда, красивая итальянская речь и даже красное вино, вместо неизбежного до тех пор пива. Отсюда мы, кажется, прямо доехали до Колико и затем пароходом по озеру до Белладжио, показавшегося мне земным раем. Здесь мы пробыли, я думаю, дня два, потому что много бродили по окрестностям, посетив, конечно, виллу Сербеллони; наняли лодку без проводника и несколько раз катались вдвоем по озеру.

Здесь я простился с своим милым спутником – его потянуло в Швейцарию, – а сам через Милан отправился в Венецию. Не помню, случилось ли это по уговору или нет, но в Милане я съехался с С. П. Боткиным, и как раз в день приезда туда тогдашнего ломбардского наместника эрцгерцога Максимилиана (впоследствии несчастного мексиканского императора), только что вернувшегося на свой пост после женитьбы. Во всяком случае, я

помню ясно, что вечером гулял с С. П. Боткиным по горевшим огнями улицам Милана с толпами подвыпившего народа, распевавшего громкие песни; но из Милана я выехал по железной дороге один и приехал в Венецию часов в 10 вечера. Въезжать в этот очаровательный город в первый раз нужно именно ночью, потому что днем, в первую поездку по каналам, вы наслаждаетесь лишь новизною зрительных, притом совершенно отчетливых впечатлений, а ночью, при тусклом освещении каналов, мелькающих мимо вас смутным таинственным образом, вы окружены невозмутимой тишиной без единого звука, кроме легких всплесков воды под веслом гондольера. Плывешь прямо-таки очарованный. Остановился в Hotel de Luna из-за заманчивости его названия, и хорошо сделал, потому что из отеля площади Св. Марка не видно, а между тем она от него всего в двух шагах. Кто бывал в Венеции, знает, какое впечатление производит эта площадь на новичка вечером, когда по ее длинным боковым фасадам горят в магазинах и кофейнях тысячи огней, а на заднем плане вырисовываются на темном небе общеизвестные из картин контуры кампанилы, собора и кузнецов с их колоколом. Заманчивый по имени отель оказался, однако, не по моему карману, и в следующее же утро я нашел дешевенькую меблированную комнату, почти насупротив существовавших тогда купален. В морской воде я с детства не купался, поэтому в первый же день посетил это заведение, состоявшее из отдельных клеточек, в которых можно было только стоять по плечи в воде, но никак не плавать. Как человеку, изучавшему химию, мне, конечно, следовало бы знать несовместимость мыла с морской водой; но я упустил это из виду и превратил свою прическу в хаос твердых вихров. К счастью, в каждой клеточке находился кувшин пресной воды, и дело поправилось. Тут же я узнал, что в море голову мыть следует глиной. В Венеции я имел возможность осмотреть все ее достопримечательности и даже наскучаться вдоволь, потому что пробыл в ней против воли недели две по следующему случаю. Перед отъездом из Мюнхена я отправил свой чемодан через экспедитора в Венецию, и прибыл этот багаж на место примерно через неделю после моего приезда – прибыл, но с потерей пломбы при переезде через границу между Баварией и Австрией, вследствие чего экспедитор не мог якобы получить его из таможни, или точнее мог, но лишь при условии взноса в таможню 700 гульденов, чего он сделать, конечно, не пожелал. По его словам, мне оставалось или ждать, пока тянется дело о пропаже пломбы, или отдать дело получения багажа без оной в руки адвоката. Но вместо адвоката я пошел к русскому консулу, рассказал ему всю историю и через несколько дней получил от него бумагу в таможню, по которой чемодан был мне выдан. Отсюда я направился без остановки во Флоренцию. Большая часть пути шла через тогдашние папские владения (через Феррару и Болонью) без железной дороги, поэтому пришлось ехать в дилижансе и к тому же сидеть против старой англичанки, т. е. ехать чуть не всю дорогу, поджавши ноги. Может быть, по этой причине никаких приятных воспоминаний об этом переезде не осталось. Во Флоренции я встретился с братом С. П. Боткина Павлом Петровичем, которого знал немного в Москве и который был совеем не похож на своего брата.

О нем мне необходимо сказать несколько слов, потому что он сыграл существенную роль в одном римском происшествии, о котором речь будет ниже. Он учился в университете на юридическом факультете, но чиновником не был и жил без дела, в свое удовольствие. Рыхлого телосложения блондин, с одутловатым, гладко выбритым лицом, мягким, словно без костей, телом и такими же мягкими манерами, он был похож на сытого католического священника средних лет, и сам себя признавал старым холостяком. Был большой любитель театра, особенно балета, и еще больший любитель женской красоты. Млел и соловел при виде красивого женского лица и, если можно, выражал перед кумиром данной минуты свои сладостные восторги словами, глазами и телодвижениями. Немного, может быть, и увлекался, но был по природе комедиант, легко входил в роль и разыгрывал комедии с большим увлечением. Эту черту его характера я узнал позднее; узнал, что между людьми, знавшими его близко, он сам подсмеивался над своими восторгами.

Бегание по улицам милой Флоренции (ее я оценил настоящим образом позднее, в

третий приезд) и ее картинным галереям продолжалось дня три, и затем мы вместе отправились через Пизу в Ливорно, отсюда пароходом в Чивитавеккию и Рим. В Риме у П. П. были знакомые между русскими художниками, и он намеревался прожить в нем недели две, а то и более. Поэтому, должно быть, в первый же день приезда сбегал в cafe greco[32], тогдашнее место сходки русских художников, и, вероятно через посредство кого-нибудь из них, нанял для нас обоих две меблированные комнаты с молодой и красивой хозяйкой-римлянкой.

Прежде чем мои утра устроились таким образом, мы с П. П. успели побывать в наиболее знаменитых местах Рима и между прочим в капелле Святой Лестницы при Латеранском соборе. У входа этой часовни стоял монах и давал усердным посетителям наставления относительно способа почитания святыни. Первая, последовавшая этим наставлениям, была старушка, а за нею пополз и П. П., но, не дойдя и до половины лестницы, пополз назад. Затем с умиленным лицом и с видом сокрушения он дал понять пантомимами монаху, что не смог довести усердия до конца, а выйдя из капеллы, помирал со смеху, вспоминая фигуру ползущей перед ним старушки. Зная лишь несколько слов по-итальянски, П. П. был вообще вынужден в Италии пускать в ход пантомиму, в которой был, как балетоман, большой мастер, и ею же, с примесью французских слов, ему приходилось пленять нашу милую хозяйку, синьору Марию.

Молодая, тоненькая, стройная, с чертами лица Мадонны дель Сарто, но живая и веселая, она с первых же беглых встреч стала интересовать П. П. гораздо больше всех достопримечательностей Рима, взятых вместе; и он сумел повести дело таким образом, что очень скоро приручил ее к нашему обществу и его галантерейностям. Очень помогли ему в этом отношении устроенные им вечерние русские чаи. Он упросил синьору Марию быть хозяйкой этих вечеров, ссылаясь на свою неловкость и русские обычаи. Вместе с тем он любезничал так почтительно, что она согласилась и стала ежедневной гостьей в комнате, служившей нам салоном. Прошло несколько таких вечеров, и устроилась поездка в Тиволи втроем, т. е. с хозяйкой. Поехали мы туда в нанятой на целый день коляске; по приезде легкий завтрак, потом катание на ослах, гуляние по парку и возвращение назад, когда жара уже спала. Поездка эта, кончившаяся сытным обедом с вином, так подействовала на синьору Марию, что, не доезжая Рима, она заснула в коляске с разгоревшимся лицом под лучами заходившего прямо против нас солнца. Не думаю, чтобы даже художникам могла сниться более изящная спящая красавица, чем наша падрона в эти минуты. Сожитель мой сидел немой от восторга, да и я был сильно тронут, но на иной, чем он, нисколько не материальный, лад. Эта поездка была поворотным кругом в наших взаимных отношениях. Он стал пересаливать в своем ухаживании, а я стал возмущаться его масляными взглядами и все менее и менее церемонными подходами. А Павел Петрович, как я узнал впоследствии от С. П., замечая, что я тронут падроной и будто бы ревную его к ней, поддразнивал меня своими любезностями. Сколько времени действовали на меня эти раздражающие влияния, не помню; но они успели довести мою нервную систему до такого состояния, которое неизбежно кончается взрывом; и взрыв произошел неожиданный, нелепый.

В тот раз, не предупредив ни меня, ни хозяйку, он [П.П.] привел [к чаю] человек пять русских художников. Перед их приходом я сидел в нашем салоне с синьорой Марией и беседовал с нею самым мирным образом; когда же гости появились в дверях этой комнаты, она вскочила со стула испуганная, и я невольно вслед за нею; она стала прятаться за моей спиной, а я стал закрывать ее от взглядов остолбеневшей компании. Сцена эта продолжалась, конечно, лишь несколько мгновений и кончилась тем, что синьора Мария убежала через другие двери к себе, а я, растерявшийся и сильно сконфуженный, едва смог раскланяться с пришедшими и тотчас же уплелся в свою комнату, схватил шапку и – вон из дома. Чай, вероятно, не состоялся, потому что, вернувшись часа через два, я нашел нашу квартиру уже

---

[32] Греческое кафе (*итал.*).

пустой, заперся в своей комнате и предался размышлениям, в которых на первый план выступало мое дурацкое поведение, придавшее разыгравшейся сцене такой вид, словно мы были накрыты на месте преступления, – поведение, компрометировавшее бедную беззащитную девушку. Плодом этих размышлений было написанное в ту же ночь письмо, в котором виновник скандала предлагал руку и сердце скомпрометированной им беззащитной девушке. Вечером того же дня я стал женихом более удивленной, нежели обрадованной невесты, взяв с нее слово молчать до поры до времени. Быть женихом, когда знаешь, что невеста идет за тебя не по любви, и к тому же не уметь говорить с нею на ее языке как следует, – очень невесело; да и она, слава Богу, не играла роли счастливой невесты, поэтому наша близость ограничилась целованием лишь при прощании, да и оно произошло без нежностей и без слез с той и другой стороны. Уехал я из Рима в конце октября в почтовой карете до Анконы, отсюда пароходом в Триест и далее в унылый Лейпциг. Здесь я получил несколько писем с некоторыми сведениями касательно невесты; пыл прошел, и вся история кончилась моим письмом к синьоре, в котором я извещал ее, что не могу выполнить данного обещания вследствие непреодолимого сопротивления родных. Слава Богу, я не сделал ей никакого зла.

Когда я был в университете на последнем курсе, то узнал о существовании вышедшего тогда учебника физиологии Функе, а в Берлине слышал, что Гоппе-Зейлер был его товарищем или по университету, или по лаборатории Лемана, тогдашнего представителя физиологической химии, и это обстоятельство было причиной, что на зимний семестр 57-го года я отправился в Лейпциг. Город этот я назвал унылым, и во вне-ярмарочное время он был действительно таковым, притом же поездка в Италию, с только что описанным происшествием, обошлась слишком дорого для моего не тугого кармана, так что пришлось вести здесь спартанскую жизнь, и вдобавок ко всему без товарищей, в совершенном одиночестве. В памяти остались дешевые лейпцигские обеды: за 5 зильбергрошей (15 коп.) можно было получить тарелку супа, полпорции мяса mit Gemüse[33] и в виде десерта Hausbrod (наш ржаной ситный), à discrétion[34], с жомком посоленного творога с тмином, тоже à discrétion. Помню также мою добрую квартирную хозяйку, как она, по моей просьбе, заменила утренний кофе, из-за излишней прибавки к нему цикория, чаем очень странного запаха, и на мой вопрос, откуда такой аромат в чае, отвечала, что она подмешивала к нему для запаха гвоздику.

Функе был экстраординарным профессором, и лаборатория его, состоявшая из двух комнат, была обставлена очень бедно. Я явился туда с готовой темой – изучать влияние алкоголя на азотистый обмен в теле, на мышцы и нервную систему. По первому из этих вопросов пришлось делать опыты на себе, т. е. измерять, при одном и том же пищевом режиме, суточное выделение мочевины и мочевой кислоты (в те времена сказанный обмен измерялся именно так) при нормальных условиях и при употреблении алкоголя. Питался я при этом две недели подряд следующим образом: утром и вечером дома одинаковые порции чая с сухарями, а обедал в находившейся поблизости к моей квартире студенческой кнейпе, которая оставалась весь день пустой (вечером туда не пускали никого, кроме студентов той корпорации, которыми она нанималась на год) и хозяин которой очень охотно согласился давать мне ежедневно бифштекс из нежирной говядины с неизменным по весу количеством картофеля и белого хлеба. По второму вопросу мне пришлось проделать впервые множество опытов на лягушке – по упругости мышц, по раздражительности их и двигательных нервов, по электрическим свойствам тех и других и по перевязке сосудов и проч. С этой стороны занятия были очень полезны, тем более что я был предоставлен при опытах собственным силам. В то время опыты с влиянием различных ядов на мышечную и нервную систему были

---

[33] С овощами (*нем.*).

[34] По усмотрению (*нем.*).

в большом ходу, и я, попутно с изучением влияния алкоголя, повторял на лягушке чужие опыты с влиянием на нервы и мышцы разных других ядов. Под руку подвернулись, между прочим, опыты Кл. Бернара с действием серно-цианистого калия, и, повторяя оные, я нашел в них ошибку. Дело в том, что в парижскую лабораторию тогда еще не проникли из Германии различные виды электрического раздражения нервов и мышц, и Бернар все еще употреблял для возбуждения их циркуль с медным и цинковым концами. Таким образом, описание на немецком языке собственных опытов, с поправкой замеченной ошибки, стало моим первым, очень немудрым ученым произведением, удостоившимся быть напечатанным.

В Лейпциге же я имел честь быть введенным впервые в хорошее немецкое общество, именно на вечернее собрание какого-то ферейна, членами которого состояли, между прочими обывателями, профессора с их семействами. На одно из таких собраний взял меня с собой Функе, обязав надеть фрак и иметь белые перчатки. Собрание начиналось коротенькой лекцией или рассказом общедоступного и приятного для дам содержания. В этот раз очередь забавлять их лекцией была за Функе, и он очень удовлетворил публику, рассказав, какая разница между Nahrungs und Genussmitteln[35]; когда же раздался сигнал к имеющей начаться кадрили, он представил меня какой-то барышне, сказав наперед, как пригласить ее на кадриль, и отыскал нам визави. Кадриль сошла благополучно. Перед вальсом он представил меня другой даме, и, покружившись с ней некоторое время, я подвел ее, по русскому обычаю, к стулу, с которого взял, поклонился и стал удаляться, но был пойман со смехом Функе, сказавшим, что, по их обычаям, пока музыка продолжает играть танец, кавалер не имеет права покидать приглашенную им даму и должен танцевать с нею повторительно или по крайней мере сидеть подле нее и занимать разговорами.

На Рождество я уехал в Берлин к моим милым товарищам и очень весело встретил с ними 1858-й год. Возвращаться из Берлина в Лейпциг было так тошно, что я решил внутренне не дотянуть семестр до конца и, получив от кого-то из товарищей известие, что в лаборатории Гоппе есть вакансия и что он меня примет, вернулся, кажется, в конце февраля в его милую лабораторию. Имея в предмете включить в диссертацию влияние алкоголя на отправления печени, я считал нужным набить руку в количественном анализе желчи на ее составные части и стал заниматься этим вопросом. Вероятно, в это же время занимался добыванием гликогена из печени. Боткина в это время в Берлине не было; он был, кажется, временно в Москве и хворал там первыми припадками желчной колики. Помню этот маленький промежуток времени еще потому, что, страдая ни с того ни с сего одышкой, раз так сильно испугал добрую толстую Frau Krüger, хозяйку боткинской квартиры, в которой я поселился, что она привела ко мне участкового доктора, которому я должен был заплатить 20 зильбергрошей за визит и рецепт, в котором мне предназначалось выздороветь от употребления малинового сиропа, подкисленного фосфорной кислотой. И выздоровел.

Не знаю, надоумил ли меня какой-нибудь добрый человек или я сам собственным умом дошел до решения ехать отсюда к Людвигу в Вену, но весной 1858 года был уже у этого несравненного учителя, славившегося тогда вивисекторским искусством, равно как важными работами по кровообращению и отделениям, и сделавшегося впоследствии интернациональным учителем физиологии чуть ли не для всех частей света. Чтобы занять такое положение, одной талантливости было мало; нужны еще были известные черты характера в учителе и такие приемы обучения, которые делали бы для ученика пребывание в лаборатории не только полезным, но и приятным делом. Неизменно приветливый, бодрый и веселый как в минуты отдыха, так и за работой, он принимал непосредственное участие во всем, что предпринималось по его указаниям, и работал обыкновенно не сам по себе, а вместе с учениками, выполняя за них своими руками самые трудные части задачи и лишь изредка помещая в печати свое имя рядом с именем ученика. Однако пока Людвиг жил в Вене, профессорствуя в маленькой военно-медицинской школе Josephinum, развернуться

---

[35] Пищевые продукты и табачные изделия (*нем.*).

этим качествам вширь было негде. Лаборатория его состояла из трех комнат: очень маленькой библиотеки, аудитории человек на 50 и мастерской, в которой работал известный всем людвиговским ученикам лабораторный служитель Зальфенмозер, правая рука профессора. К этому нужно прибавить, что школа была закрытым заведением; лаборатория по уставу не предназначалась для практических занятий учащихся, и профессор не получал гонорара со студентов. По всем этим причинам за весь год моего пребывания там в лаборатории работали только двое (сначала Вильгельм Мюллер и я, потом я и Макс Германн, оба мои соработника, крайне милые люди) и не платили за право работать ни копейки.

К Людвигу я явился без рекомендации и был первым московитом, которого он увидел (впоследствии он умел различать в русских три типа, под названиями петербуржцы, московиты и малороссы). Разговаривая со мной о выраженном мною намерении заняться влиянием алкоголя на кровообращение и поглощение кровью кислорода, он сделал мне род экзамена по физиологии и, должно быть, удовлетворился ответами, потому что пустил в лабораторию. Место я получил в мастерской, где работали все вообще его венские ученики, а Зальфенмозеру было поручено помогать мне при опытах.

Пока я валандался с поглощением кровью кислорода и кимографическими кривыми нормального и пьяного животного, – а на это, при моей тогдашней неопытности, ушел весь летний семестр, – Людвиг не принимал никакого участия в судьбе моих опытов, спрашивая лишь время от времени, все ли у меня благополучно, и зная, конечно, от Зальфенмозера, что внешним образом опыты идут без скандала. Интересоваться ими Людвиг, конечно, не мог и, может быть, присматривался к московиту. Единственное внимание его ко мне выражалось следующим образом: в те утра, когда он не работал с В. Мюллером[36] и сам продолжал свои опыты с иннервацией слюнной железы, я приглашался ассистировать ему. Опыты эти были для меня не только интересны и поучительны, но еще и занимательны, потому что профессор, тогда еще, в сущности, молодой человек, лет 40, любил болтать за работой: рассказывал веселые анекдоты из древней университетской жизни, о чудаках профессорах, расспрашивал меня о России, интересовался Лермонтовым, зная его, вероятно, по немецким переводам, и раз даже пожелал услышать, как звучат по-русски его стихи, на что я ему продекламировал «Дары Терека» с переводом их смысла. Когда уехал В. Мюллер и я остался у него один, он еще больше приблизил меня к себе, приглашая ассистировать и присутствовать при всех приготовляемых для его лекций опытах. Пускал бы меня, конечно, и на свои лекции студентам, но не имел на это права.

Нужно ли говорить, что это было очень счастливое для меня время. Русских товарищей в этот семестр у меня не было, но я был не лишен компании. В лаборатории для бесед был В. Мюллер (впоследствии профессор патологической анатомии в Иене), баварец, эрлангенский студент, влюбленный в свою родину и ее пиво, всем довольный и жаловавшийся только на дороговизну венской жизни. Раз, на мое удивление по этому поводу и в ответ на мой рассказ о дешевизне лейпцигских обедов, он не без похвальбы заметил: «Это что за дешевизна! В Эрлангене мы, студенты, могли обедать много дешевле и были сыты, получая тарелку супа и клецку». Будучи знаком с этим именем в России по супу с клецками, я, конечно, не понял, как может насыщать одна клецка студента, не отличающегося вообще слабым аппетитом, и понял загадку лишь тогда, когда Мюллер демонстрировал мне обеими руками ее объем в виде шара чуть не с человеческую голову. С другим моим товарищем этого времени я прожил в Вене целый год, сошелся с ним до степени дружбы, гостил по месяцам в его лаборатории, когда мы оба были уже профессорами (он в Граце, а я в Петербурге), и сохраняю к нему чувство дружбы доселе. Благодаря Богу он еще жив и стал для меня

---

[36] Опыты эти заключались в изучении явлений дыхания при условии, когда полость легкого трахеотомированного животного сообщалась с очень маленьким приемником O2, в виде колокола, погруженного в ртуть, по мере потребления из него животным газа. Оказалось, что, когда весь газ исчезал из-под колокола, из легочного воздуха исчезал бесследно весь кислород.

единственным товарищем молодых лет, тогда как всех моих друзей, описываемых в этих беглых строках, да и всех моих дорогих немецких учителей давно уже нет на свете.

Этим моим товарищем сделался Роллет, ассистент Брюкке, профессора физиологии в Венском университете. Он занимался тогда растворением кровяных шариков электрическими разрядами через кровь и приходил в лабораторию Людвига показывать ему получавшиеся результаты. Тут я с ним и познакомился, а затем мы стали ежедневно обедать в одно и то же время в одном и том же дешевеньком ресторане в Alsterstrasse. Будучи беззаветно преданным своему делу, он беседовал преимущественно о научных вопросах и, вовсе не желая поучать, сообщал много интересного из того, что делалось в лаборатории Брюкке по части физиологической химии и гистологии. Говорил он медленно, как бы обдумывая каждое слово, и такой же обдуманностью отличались все его действия.

Враг всякой фальши и в то же время прямой и искренний до наивности, он самым серьезным образом поправлял в разговорах мои грехи против члеников немецкой речи и бывалые грехи против физиологии. Принадлежал вообще к разряду людей с горячим сердцем, при несоответственно спокойной внешности. Достаточно было раз увидеть на его некрасивом лице милую, добрую улыбку, чтобы знать, что это хороший человек.

На осенние каникулы 1858 г. я остался в Вене, чтобы писать диссертацию, так как собирание собственного опытного материала было закончено, и здесь я имел возможность пополнить собиравшиеся уже ранее литературные данные по вопросу. Единственным моим развлечением были прогулки по ближайшим окрестностям, концерты Штрауса на открытом воздухе в Volksgarten'е и поездка на пароходе по Дунаю в Ленц и обратно. Эта часть Дуная показалась мне менее красивой, чем берега нашей Волги в Костромской губернии.

Осенью приехали в Вену на весь зимний семестр Беккерс и Боткин, последний женихом из поездки в Москву. Свадьба его имела совершиться в Вене весной следующего года, по окончании зимнего семестра, для чего невеста должна была приехать в Вену с матерью. Таким образом, и здесь, как в Берлине, было трое молодых приятелей, работавших большую часть дня и веселившихся в часы отдыха. Вена, конечно, веселее Берлина, но веселились мы здесь гораздо скромнее, чем там. Так, из всех наших посещений увеселительных мест в памяти у меня остались, по резкой разнице впечатлений, два бала совершенно приличного содержания: бал немецких бюргеров и бал славян, в разное время, но в одном и том же локале. На первом из них в танцевальной зале царствовала та степень оживления, которая присуща балам хорошего общества и у нас, тем более что, помимо обычных общеевропейских танцев, здесь стоял на первом плане виденный мною тогда впервые красивый венский вальс, с его медленным темпом и красивым раскачиванием тела из стороны в сторону, – танец, бесспорно красивый, но спокойный и скорее убаюкивающий, чем увлекающий. На славянский бал мы пошли с большим интересом, так как в объявлениях было сказано, что будут, по желанию, национальные танцы. В этот раз, после инсипидной кадрили, вальса и полек, составились только два национальных танца: скучное сербское коло вроде нашего хоровода, только без припева «вдоль по морю…», и мазурка настоящих поляков и настоящих полек. В жизнь мою не видел танца более увлекательного: наша балетная мазурка в «Жизни за царя» с Кшесинским в первой паре – жалкая пародия на этот огненный танец. Пары несутся по зале, как вихрь, и польки не танцуют, а словно бегут под музыку, и бегут раскрасневшиеся, взволнованные, – задыхаясь. На балу бюргеров в смежном с танцевальной залой ресторане было много шума, громких разговоров, звона посуды, но ни единичных громких вскрикиваний, ни тостов, ни вскакиваний со стульев – словом, никаких признаков подвыпившей компании. А у славян, в той же самой комнате, было всего вдоволь: за одним столом говорились речи с криками «браво», за другим целовались; здесь усмиряли вскочившего со стула оратора, дергая его за полы, а там слышался раскатистый смех или стучание кулаками по столу. Словом, шел пир горой.

В самом начале этого семестра Боткин и Беккерс, сговорившись с другими русскими медиками, приехавшими в Вену, поручили мне спросить у Людвига, не возьмется ли он прочесть им в своей лаборатории ряд лекций по кровообращению и иннервации кровяных

сосудов. Я исполнил их желание, и Людвиг согласился, если соберется между желающими сумма в триста гульденов. Сумма, конечно, собралась, и я был в числе слушателей на этих лекциях.

Людвиг принадлежал к числу профессоров, любящих процедуру чтения, и на лекции словно смаковал читаемое. С вивисекторской стороны лекции были обставлены роскошно и имели, конечно, большой успех. По окончании оных благодарная публика пригласила профессора на устраиваемый в честь его обед, и приглашение было принято. Тут он держался с нами по-товарищески, был весел, разговорчив, немного подвыпил и после обеда играл со мною на бильярде. Познакомился за обедом с обоими моими друзьями и, познакомившись впоследствии с прелестной женой С. П. Боткина, был очень расположен к этой паре.

В эту же зиму мои занятия в лаборатории приняли хороший оборот.

Опыты примешивания паров алкоголя к освобожденной от газов крови, с целью изучать влияние его на поглощение кровью O2, дали мне в прошлом семестре неудовлетворительные результаты; поэтому я стал думать, что было бы, может быть, рациональнее поступать иначе: выделять из крови нормального и пьяного животного содержащиеся в ней газы и сравнивать эти величины друг с другом. Прочитав описание существовавших тогда способов Магнуса и Л. Мейера, я не мог не понять, что оба они не удовлетворительны – в одном кровь кипятилась при комнатной температуре, а в другом в невозобновляемом пустом пространстве, потому что я весь летний семестр выкачивал газы из крови непрерывным действием воздушного насоса и должен был в то же время согревать ее до 38–40 °C, чтобы освободить от газов. Долго ли я размышлял, как выйти из этого затруднения, не знаю, но в конце концов мне пришла мысль воспользоваться имевшимся у меня в руках абсорпциометром Л. Мейера и превратить его с небольшими изменениями в кровяной насос с возобновляемой пустотой и возможностью согревания крови. Сказано – сделано.

Людвиг, конечно, видел эти пробные опыты, и они послужили моделью для заказанного им тотчас же кровеносного насоса, который был отдан в мое распоряжение и был описан мною в последовавшей затем работе с газами артериальной крови нормального и задушенного животного. Этим способом учение о газах крови было поставлено на твердую дорогу, и эти же опыты, равно как длинная возня с абсорпциометром Л. Мейера, были причиною, что я очень значительную часть жизни посвятил вопросам о газах крови и о поглощении газов жидкостями.

В эту зиму я был уже вхож в семью Людвига, состоявшую из жены, очень скромной молчаливой дамы, и дочки лет пятнадцати. Раз даже был во фраке на званом вечере, где публика сидела вокруг стола, степенные дамы – на софе, а дочь Людвига разносила гостям чай. С этих пор дружеское расположение ко мне моего милого учителя не прекращалось вплоть до его кончины, выражаясь при всех маленьких переворотах моей жизни теплыми, участливыми письмами.

Свадьба Боткина имела совершиться, как я сказал, в конце зимнего семестра, и время приезда невесты настолько приближалось, что он уже начал собирать некоторые украшения в будущий будуар жены (помню устроенное им уморительное куцее зеркало, убранное полотенцами, которое, наверное, насмешило его изящную невесту) и мы уже сшили себе новые фраки, так как я имел быть шафером на свадьбе, как вдруг в одно прекрасное утро бедный Боткин просыпается с сыпью на лице, оказавшейся, к счастью, ветряной оспой. Понятно, что это сильно испортило настроение духа всегда веселого и доброго Боткина (по этому случаю, кажется, даже приезд невесты был на некоторое время отложен); и в это-то злополучное время понесла нас нелегкая затеять спор о сути жизненных явлений. Он был страстный поклонник Вирхова с его целлюлярной патологией; а я, наслушавшись завзятых биологов-физиков, какими были, я думаю, чуть ли не все физиологи того времени, считал началом всех начал молекулы. При других условиях спор мог бы кончиться благотворно, поправками и уступками с той и другой стороны, но в данном случае их не последовало, и он

кончился со стороны Боткина справедливой для того времени поговоркой «Кто мешает конец и начало, у того в голове мочало», которая меня настолько обидела, что в Вене мы уже не видались более, и я уехал в Гейдельберг.

Привожу дословно очень важную выдержку из письма Людвига ко мне от 4 мая 1859 г., значит в начале моего пребывания в Гейдельберге.

«Любезный Сеченов, Боткин уехал женатый и будет иметь, конечно, приятное и счастливое свадебное путешествие. В одно из наших частых свиданий он сообщил мне, что получил письмо от господина Глебова, некоего высокопоставленного чиновника в Петербурге, в котором говорится, чтобы вы (т. е. я, Сеченов) написали ему, как и где занимались физиологией; а он, имея в руках такой документ, мог бы похлопотать за вас. Исполните же это. Я просил Боткина, чтобы он написал вам об этом сам, и надеюсь, что он сделал это, так как его жена очень его уговаривала. Как она жаловалась на излишнюю обидчивость Боткина, так и он на Вашу. Простите, что говорю об этом, но мне бы так хотелось водворить согласие между двумя людьми, каждый из которых на свой лад может сделать много хорошего… Поклонитесь сердечно Бунзену и Гельмгольтцу.

Верный вам К. Людвиг».

Не помню, когда я написал письмо Глебову, но знаю, что через несколько дней по получении людвиговского письма я встретился с счастливым, добрым Боткиным и его красавицей женой в Гейдельберге. Дело было, по-видимому, в какой-то праздничный день, потому что они, в сопровождении Юнге (бывшего со мной в Гейдельберге), знавшего, куда я пошел гулять, нашли меня в парке около замка. С этих пор мы уже никогда не спорили с С. П. о клеточках и молекулах.

В Гейдельберг я приехал с намерением слушать лекции у Гельмгольтца и Бунзена и работать в обеих лабораториях. Узнав, что у Бунзена не занимаются органической химией, я заявил желание заниматься у него титрованием и анализом газов. Узнав, что я медик, он предложил мне заняться прежде всего алкалиметрией и анализом смесей атмосферного воздуха с $CO2$. Слышав про идеальную доброту и простоту Бунзена, я говорил с ним, не смущаясь; а к Гельмгольтцу, тогда уже великому физиологу в глазах всего мира, шел с трепетом, неся в голове всю программу разговора. Пришел я к нему с следующими планами работ: 1) изучать влияние на сердце совместного раздражения обоих блуждающих нервов, одного в центробежном, а другого в центростремительном направлении; 2) изучать при посредстве его, т. е. Гельмгольтца, миографа различную быстроту сокращения различных мышц на лягушке; 3) заняться по его указанию каким-либо вопросом из физиологической оптики, и 4) позволить мне произвести несколько опытов с добыванием газов из молока при посредстве только что устроенного Людвигом кровяного насоса, который будет доставлен мною (по приезде в Гейдельберг я тотчас же заказал его на свой счет тогдашнему механику Дезага).

Что я могу сказать об этом из ряда вон человеке? По ничтожности образования приблизиться к нему я не мог, так что видел его, так сказать, лишь издали, никогда не оставаясь притом спокойным в его присутствии, что стесняло его самого. От его спокойной фигуры с задумчивыми глазами веяло каким-то миром, словно не от мира сего. Как это ни странно, но говорю сущую правду: он производил на меня впечатление, подобное тому, которое я испытал, глядя впервые на Сикстинскую Мадонну в Дрездене, тем более что его глаза по выражению были в самом деле похожи на глаза этой Мадонны. Вероятно, такое же впечатление он производил и при близком знакомстве. В Германии его считали национальным сокровищем и были очень недовольны описанием одного англичанина, что с виду Гельмгольтц похож скорее на итальянца, чем на немца.

Читал он некрасиво на штатных лекциях студентам-медикам, которые я слушал и которые читались элементарно, без всякой математики. Должно быть, скучал, потому что раз мне довелось быть на вечернем собрании гейдельбергского ученого общества, в котором он

описывал анализ звуков резонаторами и читал здесь даже весело, выбрав судьей присутствовавшего на этом сообщении глухого Бунзена, улыбавшегося доброй улыбкой, когда Гельмгольтц вставлял ему в ухо резонатор.

В лаборатории (очень небольшой, с отдельной комнатой профессора и без отдельной комнаты его тогдашнего ассистента Вундта) работало четыре человека. Вундт сидел неизменно весь год за какими-то книгами в своем углу, не обращая ни на кого внимания и не говоря ни с кем ни слова. Я не слышал ни разу его голоса. Гельмгольтца мы видали мельком. Ежедневно он приходил один раз в рабочую комнату, обходил всех работающих, спрашивал каждого, все ли благополучно, и давал разъяснения, если таковые требовались.

Начал я работать с темы, данной мне Гельмгольтцем. Тема заключалась в определении отношения прозрачных сред глаза к ультрафиолетовым лучам. Ранее этого им самим была констатирована флюоресценция сетчатки в этих лучах. Кварцевые линзы и призмы имелись в лаборатории, но серебряного зеркала (для гелиостата), незадолго да того начавшего приготовляться по способу Либиха, еще не было; и Гельмгольтц, зная, что я работаю у Бунзена, сказал мне, что я могу сделать его в лаборатории последнего. Должно быть, он сам сказал об этом Бунзену, потому что едва я заикнулся об этом, как Бунзен собственноручно схватил стеклянную пластинку, вычистил ее, посеребрил и в конце концов отполировал бархатной подушкой. Свиные глаза я получал с бойни; и как только путь света от гелиостата, через рабочую комнату и маленькое окошечко в стене аудитории, был налажен, с первых же опытов была найдена сильная голубая флюоресценция хрусталика в ультрафиолетовых лучах. На занятия у Бунзена и на эту работу ушел весь летний семестр.

Бунзен читал превосходно и имел на лекциях ничем непобедимую привычку нюхать описываемые пахучие вещества, как бы вредны и скверны ни были запахи. Рассказывали, что раз он нанюхался чего-то до обморока. За свою слабость к взрывчатым веществам он давно уже поплатился глазом, но на своих лекциях при всяком удобном случае производил взрывы. Так и теперь, вооружившись длинной палкой с воткнутым в конце ее под прямым углом пером и надев очки, взрывал в открытых свинцовых тиглях йод-азот и хлор-азот, а затем торжественно показывал на пробитом взрывом дне капли последнего соединения. Страдая забывчивостью, он часто является на лекцию с вывернутым ухом – сохранившимся до старости наследием школьного возраста.[37] Когда в течение лекции взмахом руки профессора ушная раковина приходила в норму, это значило, что памятка сделала свое дело – опасный пункт не был забыт. Когда же, как это случалось нередко, ухо оставалось вывернутым и по окончании лекции, молодая публика расходилась с веселыми разговорами о том, был ли забыт намеченный опасный пункт или забыто ухо. Бунзен был всеобщим любимцем, и его называли не иначе как папа Бунзен, хотя он не был еще стариком. В Гейдельберге, тотчас по приезде, я нашел большую русскую компанию: знакомую мне из Москвы семью Т. П. Пассек (мать с тремя сыновьями), занимавшегося у Эрленмейера химика Савича, трех молодых людей, не оставивших по себе никакого следа, и прямую противоположность им в этом отношении – Дмитрия Ивановича Менделеева. Позже – кажется, зимой – приехал А. П. Бородин. Менделеев сделался, конечно, главою кружка, тем более что, несмотря на молодые годы (он моложе меня летами), был уже готовым химиком, а мы были учениками. В Гейдельберге в одну из комнат своей квартиры он провел на свой счет газ, обзавелся химической посудой и с катетометром от Саллерона засел за изучение капиллярных явлений, не посещая ничьих лабораторий. Т. П. Пассек нередко приглашала Дм. Ив. и меня к себе то на чай, то на русский пирог или русские щи.

Этим летом и следующей за ним зимой жизнь наша текла так смирно и однообразно, что летние и зимние впечатления перемешались в голове и в памяти остались лишь отдельные эпизоды. Помню, например, что в квартире Менделеева читался громко

---

[37] У нас, сколько я знаю, школьники не занимаются этой операцией над ухом, заключающейся в том, что давлением сзади на ушную раковину она выдавливается вперед.

вышедший в это время «Обрыв» Гончарова, что публика слушала его с жадностью, и что он казался нам верхом совершенства. Помню, что А. П. Бородин, имея в своей квартире пианино, угощал иногда публику музыкой, тщательно скрывая, что он серьезный музыкант, потому что никогда не играл ничего серьезного, а только, по желанию слушателей, какие-либо песни или любимые арии из итальянских опер. Помню, наконец, одно очень смешное происшествие. Это случилось, наверное, летом, потому что местом действия послужил вагон-салон, а такие вагоны ходили из Гейдельберга только летом. Отправляясь в Маннгейм в театр, компания наша из шести человек (между ними Савич и Менделеев) вошла в вагон-салон первая и заняла за столом наиболее удаленный от входа в вагон угол. Через несколько минут в тот же вагон у самого входа профессор Фридрейх посадил какую-то даму и сам ушел прочь. В это мгновение Дм. Ив. только что начал крутить папироску, но, заметив даму, остановился на полдороге и, держа в руке не свернутую еще бумажку с табаком, обратился к даме с вопросом, позволит ли она курить. Не успел он произнести и первых слов, как дама вскочила с испугом с места и выбежала вон. Ни она, ни проф. Фридрейх больше не явились, и мы с большим огорчением поняли, что по недоразумению со стороны дамы случился скандал, в котором нас, русских, будут обвинять в грубости и невежестве. По счастью, проф. Фридрейх лично знал лечившегося у него Савича, и мы ему поручили найти тотчас же по приезде в Маннгейм профессора и рассказать ему, как было дело. По словам Савича, Фридрейх в первую минуту повернулся к нему спиной, не говоря ни слова; но когда услышал рассказ, то помер со смеха, говоря, что жена его вообразила, будто ее приглашают играть в карты.

В осенние каникулы 1859 г. мы с Дм. Ив. вдвоем отправились гулять в Швейцарию, имея в виду проделать все, что предписывалось тогда настоящим любителям Швейцарии, т. е. взобраться на Риги, ночевать в гостинице, полюбоваться Al pen glü hen'ом[38], прокатиться по Фирвальдштетскому озеру до Флюэльна и пройти пешком весь Ober land[39]. Программа эта была нами в точности исполнена, и в Интерлакене мы даже пробыли дня два, тщетно ожидая, чтобы красавица Юнгфрау раскуталась из покрывавшего ее тумана. Но куда я делся затем, положительно не помню.

В начале следующего за тем зимнего семестра заказанный мною людвиговский насос был готов, и я приступил к газам молока. С этой целью мне пришлось приобрести от гейдельбергского дрогиста напрокат, под залог стоимости, нужное количество ртути и вступить после долгих уговоров в следующее соглашение с мещанкой Гейдельберга, державшей на продажу молока корову. В очень ранний час утра, перед тем как она доила корову, я приходил к ней с большой лабораторной чашкой, бутылкой прованского масла и стеклянным приемником для молока, заранее наполненным ртутью. Чашка наполнялась маслом, и хозяйка должна была доить корову, погрузив соски ее в масло. После этого запертый зажимом приемник опрокидывался в молоко, зажим открывался, и молоко поднималось, конечно, вверх, а вытекавшая ртуть пряталась в слое молока. Когда хозяйка коровы увидала это зрелище в первый раз, она не то сильно удивилась, не то испугалась, всплеснула руками и чуть не убежала – приемник с ртутью она приняла за серебряный флакон с непрозрачными стенками, и вдруг видит, как молоко бежит по этим стенкам вверх и собирается там, не вытекая вниз. Насилу я ей растолковал, что это не колдовство.

В эту зиму единственным событием в обычно тихой жизни Гейдельберга было празднование столетия Шиллера. Компания наша обедала всегда в ресторане отеля Badischer Hof и сидела на одном конце длинного стола, а на другом сидели студенты – прусские бароны, расхаживавшие по городу в белых шапках, с хлыстами в руках и большими датскими догами. В день юбилея за обедом между баронами сидел седой Миттермайер

---

[38] Alpenglühen – розоватый отсвет на снежных вершинах гор (*нем.*).

[39] Высокогорная часть кантона Берн.

(профессор юридического факультета), который сказал речь, упомянув в ней, что в ранней юности он имел счастье видеть великого человека, описал его образованность, гуманность, широту взглядов и закончил речь воззрениями Шиллера на женщину, описав женские типы в его творениях. Вечером мы были на театральном представлении (признаться, очень скучном) «Лагеря Валленштейна», окончившемся апофеозом.

Опытами с молоком закончились мои занятия в лаборатории. Финансы мои приходили к концу, и мне пришлось бы тотчас же возвращаться в Россию, если бы я не получил в декабре маленького наследства в 500 руб. С таким богатством в кармане я отправился с Менделеевым и Бородиным в Париж. За несколько дней до этой поездки у меня сделалась до того сильная ногтоеда на руке, с бессонными ночами, что возбудила сострадание даже вне нашего кружка, в одной светской русской даме, которая посоветовала прикладывать к пальцу сметану с пухом. Этого я не сделал и поехал в Париж с небольшой лихорадкой, в енотовой шубе Савича, чтобы не простудиться по дороге. Выехали мы в Сочельник и, проезжая по Страсбургу ночью от моста к вокзалу железной дороги, немало любовались сплошным морем елочных огней. В те времена немецкая железная дорога, по которой нам приходилось ехать, доходила только до Келя; здесь пассажиры пересаживались в дилижанс, переезжали рейнский мост и останавливались у французской заставы для визирования паспортов, причем пассажиры оставались в дилижансе. Принес нам паспорта обратно французский чиновник и стал выкликивать имена. Первые два, Менделеева и Бородина, сошли еще благополучно, но над моим именем он призадумался и, взглянув на мою черную фигуру в необычном костюме, не мог удержаться от вопроса: «Êtes vous turc, monsieur?»[40], чем, конечно, развеселил всю компанию и себя самого.

Никогда во всю мою жизнь я не кутил так, как этот раз в Париже. Первую неделю, а то и более, нигде не был, кроме как в заведениях вроде тогдашней Closerie de lilas (студенческий танцкласс), где шел дым коромыслом, в театрах с ужинами после представлений и, конечно, побывал на маскарадном балу Большой оперы, да еще с конфетами в кармане для угощения танцующих бебе, испанок, баядерок и т. п. Дошло до того, что наконец самому стало тошно, и я угомонился, когда в кармане не осталось и половины привезенного богатства. Беккерс учился тогда в Париже и, познав уже суетную сторону парижской жизни, не принимал участия в моих увеселениях. Он познакомил меня с одним из моих будущих товарищей по медицинской академии и его умной милой молодой женой, у которых собиралась учившаяся в Париже петербургская молодежь. Он же затащил меня на лекции тогдашнего профессора теоретической хирургии (Malgaigne), которые пересыпались анекдотами, рассказывавшимися с французским шиком. На одной из его лекций я услышал, напр., такое воспоминание из пережитого профессором далекого прошлого: «du temps que je faisais la guerre à l’empereur Nicolas…»[41], разумея под этим время польского восстания. На другой лекции он привел слушателям подробный список докторов, фельдшеров и аптекарей, участвовавших в операции фистулы прямой кишки Людовика XIV, с подробным счетом, сколько они получили за нее, общим итогом в 70 000 франков. Боткин был тоже в Париже: у него, как раз перед нашим приездом, в декабре родилась двойня. В уходе за женой и новорожденными он никуда не показывался, я его видел лишь мельком.

Вскоре по возвращении из Парижа приходилось собираться в обратный путь. Возвращаться на родину мне смертельно не хотелось, потому что за три с половиной года я привык к жизни на свободе, без обязательств и занятой с большим интересом. Притом же нельзя было не полюбить тогдашней Германии с ее (в огромном большинстве) простыми, добрыми и чистосердечными обитателями. Тогдашняя Германия представляется мне и теперь в виде исполненного мира и тишины пейзажа, в пору, когда цветут сирень, яблоня и

---

40 «Господин, вы – турок?» (*фр* .)

41 «Во времена, когда я воевал с императором Николаем…» (*фр* .)

вишня, белея пятнами на зеленом фоне полян, изрезанных аллеями тополей. Как бы то ни было, но ехать пришлось, когда в кармане осталось ровно столько денег, сколько нужно было на остановку в Берлине и проезд оттуда до Петербурга. Гельмгольтц простился со мной ласково и вручил три оттиска своей работы (составившей позднее одну из глав его знаменитой книги о звуковых ощущениях) с просьбой передать их в Берлине Магнусу, Дове и дю Буа-Реймону, что, конечно, и было исполнено мною. В этот раз дю Буа встретил меня приветливо и, пожелав дальнейших успехов, заметил, что я побывал уже во всех местах, где быть следовало.

Возвращение в Россию и профессорство в Петербургской медицинской академии (1860–1870)

Зимний путь лежал до Кенигсберга по железной дороге, а оттуда через Тауроген и Ригу до Петербурга в почтовой карете. В Кенигсберге я получил место в заднем 4-местном купе с тремя дамами: француженкой-модисткой, возвращавшейся из Парижа в Петербург, рижанкой, говорившей свободно по-французски, и очень молоденькой немкой, ехавшей куда-то неподалеку от Кенигсберга. От непривычки ли к езде в закрытой рессорной карете, или оттого, что мы с нею сидели на передней скамье и ехали спиной вперед, но только в самом начале пути бедная немочка стала бледнеть с явными признаками тошноты. По счастью, моя шляпа – цилиндр – была у меня под рукой и спасла сидящих перед нами дам от напасти, так так времени поднять окно со стороны немки не было. Она, конечно, очень сокрушалась, что из-за нее я потерял выкинутую в окно шляпу; но благодаря этой маленькой жертве я приобрел расположение моих спутниц и проехал с ними всю дорогу в приятельских отношениях. В Таурогене меня, впрочем, ожидал не совсем приятный сюрприз. Когда нас, пассажиров, пригласили в бюро получать наши паспорта, чиновник объявил мне, что я имею уплатить 30 руб., так как при отъезде за границу уплатил только за полгода, а за границей пробыл три с половиной. Этого я не рассчитал в Гейдельберге, и в кармане у меня оставалось лишь несколько рублей на пропитание до Петербурга. Выручил меня стоявший рядом со мною пассажир переднего купе. Пассажир этот оказался виолончелистом Давыдовым, ехавшим в Петербург из лейпцигской консерватории и уже восхитившим на этом пути берлинскую публику. Он мне составил протекцию тут же, на станции, у какого-то почтенного старика еврея, и тот дал мне под залог оставленных золотых часов 30 рублей. В Петербург мы приехали вечером, часов в 9, 1 февраля 1860 г. Старшая моя сестра была тогда замужем за офицером Финляндского полка Михайловским, которого я знал давно, учась еще в инженерном училище, как выпускного кадета и потом как гвардейского офицера. Они жили в казармах полка, в 19-й линии Васильевского острова, и приютили меня у себя со второго дня моего приезда. Отсюда, почти с конца Васильевского острова, мне пришлось пройти пешком раза три к Глебову на Выборгскую сторону – сначала, чтобы представиться ему, а потом по поводу печатания готовой уже у меня диссертации. Еще будучи за границей, я получил от Глебова письмо, в котором он обещал пристроить меня, по защите диссертации, к медицинской академии. Припоминая мелочи того времени, не могу не вспомнить слов, сказанных однажды нашим знаменитым химиком Ник. Ник. Зининым (он был член Академии наук и в то же время профессор химии в медицинской академии и ее же ученый секретарь, второе лицо после президента) в ответ на наши – мои и Боткина – сетования на некоторые стороны русской жизни. «Эх молодежь, молодежь, – сказал он словно всерьез, но, конечно, соглашаясь с нами, – знаете ли вы, что Россия единственная страна, где все можно сделать». Припомнилось мне это изречение потому, что диссертацию я никому не представлял, взял рукопись у меня в своем кабинете Глебов, без всякой просьбы с моей стороны она была напечатана даром в «Военно-медицинском журнале» и защищена мною не более как через месяц по приезде в Петербург. На диспуте я познакомился с одним из своих оппонентов, Евгением Венцеславовичем Пеликаном, молодым еще человеком, бывшим в медицинской академии профессором судебной медицины и только что сделавшимся

директором медицинского департамента Министерства внутренних дел. Это был очень умный человек, хорошо образованный для того времени медик (в это самое время он читал в Пассаже лекции по некоторым отделам физиологии), и мы остались с ним большими приятелями до конца жизни. Он ввел меня в семью проф. Красовского и познакомил меня там с одним военным доктором, которого я помню лишь по двум рассказам из времен императора Николая. Первый относился к нему самому, когда он был еще очень молодым ординатором 1-го сухопутного госпиталя. В одно из его дежурств приехал неожиданно в госпиталь государь. По уставу дежурный врач должен был рапортовать, что все обстоит благополучно, больных налицо столько-то и на выписку столько-то. Пункт благополучия сошел, конечно, благополучно, а остальных двух он не знал и был принужден ответить на вопрос государя по обоим пунктам незнанием. «Скажи своему начальству, что я тебе сказал дурак», – промолвил государь и обошел, не говоря ни слова, палаты. Главный врач был в отлучке, и когда вернулся, злополучный ординатор должен был повторить ему слова, сказанные государем. Но и этим дело не кончилось. На другой день главный доктор повез его к Енохину, главному военно-медицинскому инспектору, и он опять должен был повторять слова государя. Другое происшествие случилось с его товарищем, служившим в каком-то военном госпитале Западного края. В одну из своих поездок на Запад государь почему-то свернул с своего, известного наперед, маршрута в сторону и приехал неожиданно в этот госпиталь как раз в дежурство товарища рассказчика. По словам последнего, это был парень очень умный и дельный, но кутила, вечно без денег и потому часто дежуривший за своих товарищей не в очередь. В этот день он предавался, по обыкновению, кейфу в дежурной комнате, дежуря в шинели вместо сюртука. Когда его известили с испугом, что подъехал государь, он не растерялся, схватил в дежурной комнате бинт и набор, велел прибежавшим доложить государю, что дежурный у больного, прибежал к первому попавшемуся под руку пациенту, сбросил с себя шинель и в одной рубашке и штанах стал приготовлять руку к кровопусканию. Государя повели к этой самой кровати, а доктор, молча и не отводя глаз от дела, пустил солдатику кровь. Государь досмотрел молча всю операцию до конца, затем, похлопав его по плечу, сказал: «Молодец» и ушел в сопровождении прибежавшего за это время главного доктора осматривать госпиталь. Государь уехал довольный и велел представить дежурного врача к награде.

После защиты диссертации началось дело моего определения в медицинскую академию. Тогдашний профессор физиологии, Загорский, выходил в отставку, на его место назначался Якубович, а я имел поступить на ту же кафедру адъюнктом. По тогдашнему уставу академии, аспирант на кафедру физиологии должен был выдержать экзамен из этой науки и зоологии со сравнительной анатомией. Когда Зинин объявил мне об этом, держать экзамен из физиологии я согласился, а от зоологии отказался, как не занимавшийся ею. Но он меня успокоил, что это пустяки, чистая формальность. На этом экзамене сидели только два экзаменатора: Загорский, старик академик Брандт, читавший в академии зоологию, Зинин и я. Загорский поговорил со мной минуты две, а Брандт спросил, известно ли мне главное сочинение по инфузориям. Я ответил, что имя Эренберга мне, конечно, известно, но сочинения его не читал, так как не занимался зоологией. На второй вопрос я не мог ответить и не выдержал, заявив, что вовсе не занимался зоологией, предупредил об этом начальство и экзаменоваться не могу. Зинин пошептался со стариком, и сеанс кончился. Вскоре меня приняли адъюнктом по кафедре физиологии и заставили читать лекции до конца академического года.

Размышляя в эту минуту, стоил ли я тогда кафедры экспериментальной науки, говорю по совести – меньше, чем наши теперешние ассистенты, не побывавшие за границей. Приняли меня потому, что таких ассистентов в России еще не было и я, с своими ограниченными сведениями, был все-таки первым из русских, вкусивших западной науки у таких корифеев ее, как мои учителя в Германии. В последнем отношении мне завидовали позднее даже немцы.

Выручило меня на первых порах следующее обстоятельство. Учась в Берлине, я заказал

Зауэрвальду его гальванометр для электрофизиологии, приобрел санный аппарат дю Буа-Реймона, его штативы для опытов с лягушками и привез все это богатство с собой в Россию, умея уже за границей обращаться с ним. Поэтому, исполняя приказ начать чтение тотчас же по получении места, я мог начать читать лекции по никем не знаемому в то время в России животному электричеству. В какой мере для России того времени это учение было новостью, может служить следующее обстоятельство. Лекции я составлял подробно, от слова до слова, и получил через это возможность напечатать их в течение этого же года в «Военно-медицинском журнале». Не знаю, кто мне посоветовал, но эта вещь была представлена на какую-то премию в Академию наук, и я получил за нее 700 рублей.

К весне приехал в академию Беккерс, позже его Боткин, и эти были приняты адъюнктами уже без вступительного экзамена – первый в хирургическую клинику 4-го курса, а Боткин в терапевтическую того же курса.

Теперь будет уместно сказать несколько слов о том, какими судьбами все мы трое попали в академию.

Во главе ее стоял триумвират Дубовицкий – Глебов – Зинин, все трое – люди средних лет. Президент академии Дубовицкий был очень богатый помещик, ревностный служака из чести и, будучи близок с тогдашним военным министром Сухозанетом, получал большие куши из сундука министерства на благоустройство медицинской академии. В ученых делах он не был силен да и не нуждался в этом – на то было у него два помощника, сам же он, как большой хлопотун, предавался неустанным заботам о внешнем порядке и благочинии вверенного ему обширного заведения. Забот ему, правда, было немало. Академические здания не ремонтировались со времени их возникновения при императоре Павле; все надворные строения, не исключая ужасного анатомического театра, были деревянные; все приходило в ветхость, и Дубовицкий, страстный любитель строить, денно и нощно хлопотал о возведении новых зданий. Начало им было уже положено – построено отдельное здание для физической и химической лаборатории и обновлены небольшие клиники 4-го курса (клиники 5-го курса были в прикомандированном к академии 2-м сухопутном госпитале). Но на этом дело не остановилось: в первые же десять лет нашего пребывания в академии он построил обширные клиники Виллье и анатомо-физиологический институт. Перед нашим поступлением профессорский персонал, в свою очередь, требовал обновления: на некоторых кафедрах доживали свой век старики, и молодых сил совсем не было. Дубовицкий профессорствовал в Казани одновременно с Зининым, чтил его как большого ученого и, очевидно, отдал дело обновления профессорского персонала в его руки. Первым делом Зинин перетащил к себе на подмогу своего большого приятеля Глебова (они вместе учились в молодости за границей) из Москвы, когда тот выслужил в университете двадцать пять лет, и они стали орудовать в сказанном направлении. Из своих учеников в академии Зинин стал подготовлять будущего химика (Бородина) и будущего физика (Хлебникова), а медицинское обновление отдал, очевидно, в руки Глебова. Глебов же, как московский профессор, мог знать только москвичей; вероятно, знал нас или слышал о нас от товарищей; притом же Боткин, Беккерс и я были первыми русскими учениками за границей, после того как в конце царствования императора Николая посылки медиков за границу на казенный счет прекратились. Все это вместе и было причиной, почему нас взяли в академию.

На Масляной я съездил в Москву свидеться со старыми приятелями и виделся также со своим прежним слугой, приятелем Фифочкой, теперь Феофаном Васильевичем Девятниным. За графинчиком водки и закуской в Большой Московской гостинице, где я остановился, он поведал мне историю своих успехов с тех пор, как мы расстались; о том, как слава его башмачного искусства, распространяясь по духовенству от прихода к приходу, достигла наконец Бориса и Глеба, где в воспитаннице священника он нашел невесту с приданым, поставившим его на ноги. Теперь у него была рабочая артель, и он был одним из поставщиков Королева. Жена оказалась очень дельной женщиной и не только умела справляться с артелью, но выучилась даже кроить, т. е. быть головой башмачного дела, и умела держать супруга в струнке, если ему случалось загулять. Когда по окончании завтрака

я стал угощать его папиросами, он угостил меня нарочно захваченной с собою настоящей гаванской сигарой, объяснив, что не иметь маленького запаса таких сигар ему нельзя, потому что за каждой сдачей товара фирме неизменно следует угощение главного приказчика в трактире завтраком с гаванской сигарой в конце. При прощании услышал от него следующие слова: «Вот, Иван Михайлович, прежде я был для вас Фифочка, теперь стал Феофан Васильевич; с виду вы стали словно лучше, а в душе-то хуже, – нет в вас прежней простоты». Он был, конечно, прав, вспоминая прежние времена, когда мы делили с ним радости и горе, и сравнивая былое с впечатлениями данной минуты.

Лабораторию мне дали в нижнем этаже надворного флигеля, рядом с анатомическим театром. Она состояла из двух больших комнат, служивших некогда химической лабораторией. Поэтому в первой комнате от входа был вытяжной шкаф, а в другой, с двумя окнами, стоял во всю длину стены стол и над ним, в простенке между окнами, полки (очевидно, для реактивов). Были ли в этом помещении какие-нибудь инструменты, кроме ножниц, ножей и пинцетов, не помню, но, наверное, очень мало. Большой беды в этом, впрочем, не было – бюджет академии был роскошный, 200 000, и Дубовицкий не скупился на выписку инструментов. Много позднее я узнал еще одно свойство моей лаборатории: под комнатой, где я просидел восемь лет, находился заброшенный погреб с застоявшейся водой, которая, замерзая зимой, медленно оттаивала в остальную часть года. Этому погребу я обязан хворью в течение всей половины шестидесятых годов, от которой совсем избавился только в Одессе.

Летом я побывал в Симбирской губернии у родных и познакомился с новыми членами семьи: мужем одной из сестер, доктором Кастеном, врачом в соседнем имении Пашкова, женой одного из братьев и их маленькой дочкой Наташей. Встречен был всеми любовно и прожил у них соответственным образом. Для членов семьи, живших в деревне, это было, я думаю, самое счастливое время; все еще были молоды, жили без нужды и, как добрые люди, были любимы окружающими, – такое впечатление я вынес из этой поездки.

С осени 1860 года началось настоящее профессорствование в медицинской академии. У меня осталось несколько листков из того времени, свидетельствующих, что, готовясь к лекциям, я писал их от слова до слова. Из листков оказывается, что я читал: кровообращение, дыхание, всасывание веществ из пищевого канала, отделения, пластику тела и мышечную физиологию. Кровь, пищеварение и нервную систему взял себе штатный профессор физиологии Якубович, бывший, в сущности, гистологом. Интересно было заглянуть в эти давно забытые листки через сорок три года. Оказывается, что я не во всех случаях умел отличать важное от второстепенного, не умел обозначать точно словами различных понятий и отличался вообще наклонностью к анекдотическим, иногда даже очень резким суждениям. Случались и наивности, а от грубых ошибок спасали немецкие учебники.

Помимо писания и чтения лекций, я приготовлял в этом году к печати очерки животного электричества.

1860 год памятен, я думаю, всякому, кто жил тогда в Петербурге. Все знали, что великий акт освобождения миллионов рабов вскоре совершится, и все трепетно ожидали его обнародования. С некоторых пор дышалось много свободнее, чем прежде; в литературе и в обществе зарождались новые запросы, новые требования от жизни; но в этом году общее настроение, как перед большим праздником, было напряженно-тихое, выжидательное, без всяких вспышек. Волна эта, конечно, коснулась и нас; но мы были новичками в городе, без связей с литературными кружками, и отпраздновали этот год, так сказать, семейно, в своем собственном маленьком кружке, радуясь свободным веяниям той эпохи и увлекаясь заманчивыми перспективами только что открывшегося перед нами поприща. Это было, конечно, очень счастливое время.

Летом 61-го года я оставался в Петербурге, жил на Выборгской, ходил в свою лабораторию и занимался между прочим вопросом, не содержат ли съедобные грибы ядовитых веществ. Мне приносили, по заказу, решета сыроежек, и я обрабатывал их следующим образом: варил мелко измельченными в воде, отцеживал слизистый отвар,

освобождал его от слизи уксуснокислым свинцом и сероводородом и выпаривал раствор почти досуха. Из большого количества грибов получалось небольшое количество темно-бурой жидкости слабокислой реакции. Одной капли ее в спинной лимфатический мешок лягушки было достаточно, чтобы вызвать остановку сердца. Другими словами, я имел дело с открытым позднее в мухоморах мускарином, но не сумел получить это вещество из моих растворов. Предлагал заняться этим Воронину, но тот почему-то отказался.

В зиму 1861 года над двумя членами нашего кружка стряслась беда: Боткин заболел тяжелым тифом, но благодаря богу через шесть недель стал выздоравливать; а бедный Беккерс, пространдав почти всю зиму болезнью сердца, которая не значится в патологии как таковая, кончил в конце зимы трагически. Месяца за два до его смерти мне принесли известие (в эту минуту Беккерс был дома): «Ради Бога следите за Беккерсом, он убьет себя». На этот раз дело обошлось благополучно – тот, кто принес известие, он же и предотвратил катастрофу. Беккерс как будто успокоился, и я уже перестал думать о прошлом, как вдруг утром какого-то злосчастного дня в конце 1861 г., едва я оделся, слышу необыкновенного тона зов. Бегу. Беккерс указывает на свой письменный стол со словами «цианистый калий и мое завещание», срывает с шеи галстук, идет в спальню и бросается на постель. На мои слова «Дайте я вставлю вам палец в рот, чтобы вас вырвало», он успел только сказать, что не хочет жить, и через каких-нибудь пять минут его уже не стало. Кто и что погубило это золотое сердце, не знаю; но, наверное, не какие-либо профессорские неудачи в академии.

Еще будучи за границей, я слышал о зародившемся в среде русских женщин стремлении к высшему образованию и вернулся в Россию с готовым сочувствием такому движению. Осенью 61-го года я познакомился с двумя представительницами нового течения, серьезно и крепко зараженными на подвиг служения женскому вопросу. Они и доказали это впоследствии, кончив курс в Цюрихе и выдержав экзамен в России на право практики. В то время они еще готовились держать экзамен из мужского гимназического курса, на что у них уходили вечера, а по утрам ходили в доступную тогда для женщин медицинскую академию, где слушали нескольких профессоров (между прочим, и меня), и работали в анатомическом театре строгого Грубера, бывшего, однако, очень довольным их занятиями. Как было не помочь таким достойным труженицам! В конце академического года, ради поддержания в них энергии, я дал обеим такие две темы, которые требовали очень мало подготовительных сведений и могли разрабатываться ими у себя дома. Задача одной заключалась в том, чтобы ношением очков с цветными стеклами вызывать цветную слепоту к лучам данной преломляемости и сравнивать получаемые результаты с известными симптомами врожденной цветной слепоты. Другая имела изучать влияние тетанизации кожи на легкие тактильные раздражения в межполюсном пространстве и вне оного. Обе эти работы были в том же году напечатаны по-русски, а в следующем по-немецки.

Кажется, в эту же зиму был устроен мною манометр для определения средней величины давления крови и произведены опыты с ним.

Как ни баловала меня судьба в течение этого года, но воспоминание о свободе заграничной жизни еще не угасло, и меня до такой степени тянуло на волю, что летом, по окончании всех занятий, я получил годовой отпуск и осенью 62-го года был уже в Париже, чтобы учиться и работать у Клода Бернара. Приехал я туда раньше, чем открылись лаборатории, и воспользовался свободным временем, чтобы съездить через Марсель восхитительным Средиземным морем в восхитительный Неаполь. Имея в виду пробыть там лишь очень короткое время, я отдал себя тотчас же по приезде в руки проводника и побывал во всех достопримечательных пунктах города и его окрестностей, не исключая, конечно, вершины Везувия, Помпеи, Лазоревого грота на Капри, Собачьей пещеры на Байском берегу. На обратном пути в Марсель на небольшом пароходе итальянской компании «Рубатино» нас порядком качал свирепый, но безопасный мистраль, и ехали мы очень долго. В Марсель пароход пришел ночью; на пристани не было ни единого экипажа, и я был принужден взять в проводники мальчика, вызвавшегося свести меня в недалеко лежащий отель, где, по его словам, всегда останавливаются испанские епископы. Комната, которую я получил, должно

быть, давно не знала испанских посетителей, потому что едва я лег в постель и затушил свечку, как меня начали терзать сотни голодных клопов; говорю без малейшего преувеличения, ибо видел, зажегши свечу, все стадо собственными глазами. Еле дозвонился портье, чтобы получить другую комнату.

Лаборатория Бернара (в Collége de France[42]) состояла из небольшой комнаты, в которой он работал сам, и смежной с нею аудитории. В рабочей комнате на первом месте стоял вивисекционный стол и несколько шкафов с посудой и инструментами, а в аудитории перед скамьями для слушателей стол профессора на низенькой платформе. Я получил позволение работать за этим столом. За всю зиму моего пребывания там в лаборатории, кроме Бернара и его помощника Леконта, находился только старый отставной военный врач M. Rancheval, горячий поклонник Бернара, и я. Этот одинокий бессемейный старик, вероятно, скучал дома и ежедневно приходил в лабораторию. Бернар относился к нему с ласковой усмешкой, давал ему иногда в руки пинцет, чтобы он помогал ему при операциях, и, видимо, доставлял этим великое удовольствие старику. День проходил в лаборатории следующим образам. Утром, часов в 9, являлся я; швейцар коллежа отпирал мне вход в лабораторию, и я сидел за лягушками один или в обществе республиканца до прихода Бернара в его рабочую комнату, что случалось не ранее как в 1-м часу. Вместе с ним появлялся его помощник, делались приготовления к опытам за вивисекционным столом и производились таковые. Я допускался к ним в качестве зрителя и удалялся в аудиторию по окончании оных. Ко мне Бернар относился, конечно, вежливо, а к моей работе – совершенно безучастно; единственные редкие случаи наших бесед состояли в вопросах с его стороны, как смотрят в Германии на тот или другой интересующий его предмет. (Нужно заметить, что он не знал немецкого языка и был очень мало знаком с физиологической литературой Германии; на его лекциях я слышал только два немецких имени: Валентина и Вирхова). Через год после меня к нему приехал Кюне; с этим он сошелся и через него познакомился с немцами[43]; это я слышал от самого Кюне. Бернар был первостепенный работник в физиологии, считался самым искусным вивисектором в Европе (как считается, я думаю, ныне наш знаменитый физиолог И. П. Павлов) и был родоначальником учения о влиянии нервов на кровеносные сосуды и создателем учения о гликогене в теле; при всем том очень тонкий наблюдатель (как это сказалось, например, в его опытах с иннервацией слюнной железы) и трезвый философ. Но он не был таким учителем, как немцы, и разрабатывал зарождавшиеся в голове темы всегда собственными руками, не выходя, так сказать, из своего кабинета. Вот почему приезжему к нему на короткое время, как я, выучиться чему-нибудь в лаборатории было невозможно.

Мысли мои о газах были, однако, на многие годы отвлечены работой, которую я производил в лаборатории Бернара в обществе милейшего M. Rancheval'я. Описание их требует маленького предисловия.

Вопрос о том, что воля способна не только вызывать, но и подавлять движения, был известен, вероятно, с тех пор, как люди стали замечать на себе самих и на своих ближних способность угнетать невольно порывы к движениям (напр., кашлю или чиханию, движениям от зуда или боли и т. п.) и противостоять вообще искушениям на различные действия. Роль нервной системы в движениях давно уже стала предметом научного исследования, но первый луч в темную область угнетения движений был брошен лишь в 1845 г. достопамятной работой Эд. Вебера с тормозящим действием блуждающего нерва на

---

[42] Collége de France – Французский коллеж, парижское высшее учебно-исследовательское учреждение.

[43] Все описываемое относится ко времени до немецкого погрома, когда французы вообще недостаточно ценили то, что делалось за пределами Франции; но и в последующий затем период недостаточное знание французами немецкого языка все еще продолжало сказываться. Мне доподлинно известно, что в то время, когда открытие Кохом туберкулина, как противочахоточного средства, волновало всю Европу, коллеги нашего знаменитого Мечникова просили его переводить сыпавшиеся в то время в Германии журнальные статьи.

сердце. В этой работе он установил два факта: ускорение сердцебиений вслед за перерезкой нерва и замедление их до полной диастолической остановки при раздражении внешнего отрезка перерезанного нерва, откуда заключил, что нормально из головного мозга должны идти непрерывно по нерву слабые возбуждения, умеряющие деятельность сердца. Рядом с этим он заметил вскользь, что известное уже в то время усиление спинномозговых рефлексов, вслед за отделением спинного мозга от головного, происходит, вероятно, таким же путем, т. е. что нормально идут от головного мозга слабые тормозящие влияния на отражательную деятельность спинного. Насколько велик был интерес, возбужденный открытием Вебера в Германии, доказательством служит тот шум, который сопровождал через десять лет второе подобное же открытие Пфлюгера с действием большого черепного нерва на движение кишок; заметка же Вебера касательно головного и спинного мозга оставалась словно незамеченной, а между тем ею непосредственно ставилась даже форма пробных опытов. Причин этому было две: с одной стороны, исследованиями Гельмгольтца и дю Буа-Реймона внимание немецких физиологов было надолго отвлечено от нервных центров в сторону более доступных исследованию нервов; с другой стороны, опыты над головным мозгом были у немцев не в чести с тех пор, как опыты в этой области Мажанди, Лонже и Шиффа (различные перерезки средних частей мозга с вытекающими отсюда нарушениями локомоции) дали запутанные и разноречивые результаты. В Германии ходили слова Людвига по поводу этих опытов: «Это все равно, что изучать механизм часов, стреляя в них из ружья». Как бы то ни было, до 1861 г. никто не дотронулся до заметки Вебера, а опытная проверка его предположения выпала на мою долю. Благодаря существовавшему уже тогда очень простому и верному способу Тюрка измерять на лягушке легкость происхождения кожно-мышечных рефлексов, я взял для опытов это животное.

Форма опытов, по смыслу дела, была очень проста: перерезать послойно головной мозг спереди, мерить рефлексы после перерезки, прикладывать раздражение к обнаруженному поперечному разрезу головного мозга и снова мерить рефлексы. Сначала я пробовал прикладывать к мозгу электрическое раздражение, но эта форма оказалась очень неудобной и даже малопригодной, а поэтому была заменена химическим раздражением поперечных разрезов (поваренной солью), действие которого долго ограничивается раздражаемой поверхностью, не проникая в глубь мозга (чего нельзя сказать о раздражении электрическим током, как бы слабо оно ни было). Принято было, конечно, во внимание, что полученные эффекты, связанные с раздражением определенных мест, не зависят от боли и распространяются в спинной мозг. На всех этих основаниях и был сделан вывод, что в головном мозге лягушки существуют центры, из которых выходят тормозящие влияния на отражательную деятельность спинного. В печати эти центры были названы мною «Centres modérateurs de l'action réflexe»[44] по-французски и «Hemmungscentra»[45] по-немецки, что послужило впоследствии поводом к нападкам на смысл этих опытов. Во Франции этот труд, по напечатании его, оставался в ту пору мало замеченным, но в Германии, куда я отправился из Парижа, он встретил теплый прием. Прежде всего я показал опыты подробно Людвигу; затем показал их Брюкке, по его желанию, и, наконец, проездом через Берлин, дю Буа-Реймону, встретившему меня уже очень дружелюбно. Дело демонстрирования, с разговорами по поводу явлений, прошло и здесь настолько благополучно, что закончилось вопросами профессора о постороннем предмете, именно о движении в среде русских женщин, – работы моих учениц были напечатаны в немецком журнале и были, конечно, уже известны дю Буа-Реймону. По его словам, он не понимал причин такого движения, так как ему никогда не доводилось слышать в знакомых семьях, что женщины недовольны своим положением и стремятся стать на самостоятельную ногу. Еще менее оно было понятно

---

[44] «Центры регуляции рефлекторной деятельности» (*фр.*).

[45] «Тормозящие центры» (*нем.*).

знакомым мне из прежнего времени молодым немцам. Эти даже подсмеивались над ним, не предчувствуя, что со временем двери университета откроются для женщин в Германии раньше, чем в России.

В Петербург я вернулся в мае 1863 г. и все лето просидел за писанием вещи, которая играла некоторую роль в моей жизни. Я разумею «Рефлексы головного мозга».

Мысль о перенесении психических явлений со стороны способа их совершения на физиологическую почву была у меня уже во время первого пребывания за границей, тем более что в студенчестве я занимался психологией. Эти мысли бродили в голове и во время пребывания моего в Париже, потому что я сидел за опытами, имеющими прямое отношение к актам сознания и воли. Как бы то ни было, но по возвращении из Парижа в Петербург мысли эти, очевидно, улеглись в голове в следующий ряд частью несомненных, частью гипотетических положений:

1. В ежедневной сознательной и несознательной жизни человек не может отрешиться от чувственных влияний на него извне – через органы чувств и от чувствований, идущих из его собственного тела.

2. Ими поддерживается вся его психическая жизнь, со всеми ее двигательными проявлениями, потому что с потерей всех чувствований психическая жизнь невозможна.

3. Подобно тому как показания органов чувств суть руководители движений, так и в психической жизни желания – суть определители действий.

4. Как рефлексы, так и психические акты, переходящие в действие, носят характер целесообразности.

5. Началом рефлексов служит всегда какое-либо чувственное влияние извне; то же самое, но очень часто незаметно для нас имеет место и относительно всех вообще душевных движений (ибо без чувственных воздействий психика невозможна).

6. Рефлексы кончаются в большинстве случаев движениями.

7. Есть и такие, которым концом служит угнетение движений; то же самое в психических актах: большинство выражается мимически или действием; но есть множество случаев, где концы эти угнетены и трехчленный акт принимает вид двучленного, – созерцательная умственная сторона жизни имеет эту форму.

8. Страсти коренятся прямо или косвенно в системных чувствах человека, способных нарастать до степени сильных хотений (чувство голода, самосохранения, половое чувство и пр.), и проявляются очень резкими действиями или поступками; поэтому могут быть отнесены в категорию рефлексов с усиленным концом.

Эти положения и составили основу для написанного мною небольшого трактата под названием «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы». Редактор медицинской газеты, куда я отдал рукопись для напечатания, заявил мне, что цензура требует перемены заглавия, и вместо прежнего заголовка я поставил слова «Рефлексы головного мозга».

Из-за этой книги меня произвели в ненамеренного проповедника распущенных нравов и в философа нигилизма. К сожалению, по существовавшим тогда цензурным правилам, откровенное разъяснение этих недоразумений в печати было невозможно, а устранить их было нетрудно.

В самом деле, в наиболее резкой форме обвинение могло бы иметь такой вид. «Всякий поступок, независимо от его содержания, считается по этому учению предуготовленным природой данного человека; совершение поступка приписывается какому-нибудь толчку извне, и самый поступок считается неизбежным; откуда выходит, что даже преступник не виновен в содеянном злодеянии; но этого мало, – учение развязывает порочному человеку руки на какое угодно постыдное дело, заранее убеждая его, что он не будет виновным, ибо не может не сделать задуманного».

Это обвинение есть плод прямого недоразумения. В инкриминируемом сочинении рядом с рефлексами, кончающимися движениями, поставлены равноправно рефлексы, кончающиеся угнетением движений. Если первым на нравственной почве соответствует

совершение добрых поступков, то вторым – сопротивление человека всяким вообще, а следовательно и дурным порывам. В трактате не было надобности говорить о добре и зле; утверждалось лишь то, что при определенных данных условиях как действие, так и угнетение действия происходят неизбежно, по закону связи между причиной и эффектом. Где же тут проповедь распущенности?

По возвращении в 1863 году в Петербург я начал вести оседлую жизнь (стал, должно быть, богаче): нашел чистенькую квартиру из трех комнат, обзавелся нехитрым хозяйством, обедал дома и стал даже изредка зазывать приятелей на вечера, которые в шутку назывались «балами», так как, кроме освещения комнат a giorno[46] и чая со сластями от неизбежного в то время для всех обитателей Литейной части Бабикова,[47] ничего не полагалось. У Боткина же к этому времени устроились известные из описания его друга Н. А. Белоголового субботы. У нас обоих завязались новые знакомства, и жизнь потекла на долгие годы так, как она идет у всех рабочих вообще – неделя за делом, а там отдых в кружке приятелей. Приятели наши того времени были все люди хорошие, работники, как мы, не нуждающиеся ни в каких особенных прикрасах к посленедельному отдыху, кроме простой дружеской беседы.

Из новых приятелей я особенно близко знал Груберов, мужа и жену, и опишу эту оригинальную пару прежде всего.

В свою бытность профессором медицинской академии Пирогов выписал из Праги ассистента Гиртля, Грубера, и определил его прозектором анатомии при медицинской академии. Без языка и знания обычаев и уставов академической среды (довольно-таки темной в то время), при этом в высшей степени непрактичный в обыденной жизни, Грубер должен был нередко делать промахи и вынес из первых лет своего пребывания в России такое впечатление, словно он был окружен врагами. Если мои справедливые требования и исполнялись время от времени, говорил он, то всегда с прибавкой: «Ах, этот проклятый немец!» Прибавка эта была, конечно, во многих случаях шутливая, а он принимал ее всерьез.

Удержали Грубера в России его беззаветная любовь к анатомии и такое богатство поступавшего в его руки анатомического материала, о котором он и мечтать не мог за границей. Знал он одну анатомию, считал ее одним из китов, на которых стоит вселенная, и с утра до ночи занимался аномалиями строения тела, которые требовали громадного материала, так как ему приходилось не только находить сравнительно редкие аномалии, но и вести им статистику, т. е. определять численное отношение аномалии к норме. В этом отношении ежегодные занятия сотен студентов в анатомическом театре были для него кладом. Он с первых же лет завел книгу, в которой записывалось число всех выданных в течение года препаратов и число замеченных в них аномалий. С течением времени книга эта достигла, разумеется, колоссальных размеров и была сокровищем, хранение которого поручалось лишь главному или наиболее любимому из ассистентов. Если таковой впадал к нему в немилость, то сокровище от него отбиралось[48]. Чувство долга и чувство

---

[46] Днем (*итал.*).

[47] Да и в этом скромном угощении случались прорехи, которые, по молодости публики, служили, однако, потехой, а не огорчением. Дело в том, что главный приказчик Бабикова был купец старого закала и при всяком удобном случае норовил подсунуть в хорошее что-нибудь негодное и на укоры покупателя отвечал обыкновенно совершенно спокойно: «Наше дело продать-с, ваше дело смотреть-с». Все это было, конечно, известно и моим гостям.

[48] Подобный же, но еще более оригинальный случай любви к записной книжке я слышал от Людвига. Дело происходило в Гейдельберге в 20-х годах прошлого столетия. У известного химика и гофрата Тидемана были: записная книжка, в которую вносились ежедневно все впечатления и приходившие в голову мысли, молоденькая дочка в возрасте невесты и молодой ассистент, будущий известный Бишофф. Дочка и ассистент полюбили друг друга и долго боялись суровости гофрата, но наконец Бишофф решился просить у него руки дочери. Разумеется, он был прогнан, как Lausbul, возмечтавший о дочери гофрата. Думали, гадали влюбленные, как помочь беде, и наконец нашли средство. У гофрата пропала записная книжка; он метался несколько дней как угорелый и, прозрев наконец истину, сказал уже без злобы ассистенту: «Ну, бери дочь и отдай мне

справедливости было развито в Грубере до непостижимой для нас, русских, степени. Так, экзаменуя ежегодно сотни лиц, он прогонял неудачников до пяти раз, не допуская лишь до шестого. Таким образом, вся его жизнь проходила в непрерывных экзаменах и списывании аномалий. В один особенно счастливый год он с гордостью говорил нам, стукнув кулаком по столу, что написал в этом году hundert und vierzig Abhandlungen![49] Вирхов сначала помещал в своем журнале его статьи, но когда они посыпались как дождь, отказался, и Грубер печатал их уже отдельными оттисками. Считая себя человеком, заслуживающим почета, он крайне любил свои юбилеи, приготовлял к ним пламенные речи и сам описывал их на немецком языке (описания эти были, кажется, изданы Браумюллером в Вене). Добрый в душе, он держал себя очень сурово в анатомическом театре, отрывисто командуя своими подчиненными. Эти черты он заимствовал от своего учителя Гиртля, перед которым трепетал в былые времена сам, и вообще считал себя неограниченным повелителем в анатомическом театре (студенты звали его выборгским императором).

В жены этому чудаку Бог послал женщину, с виду тоже немного чудачку, но, в сущности, самых высоких душевных качеств. Своему «Мутцерлю» (так она звала мужа) она была предана столь же беззаветно, как тот анатомии, была его нянькой, зорко следила за тем, чтобы ничто не мешало его занятиям, помогала ему в них, насколько умела[50], и нередко просиживала целые вечера в анатомическом театре с чулком в руках, чтобы не оставлять одним своего дитятка. Чистая душой, искренняя, пылкая и храбрая – последнее она доказала на деле, спасая не однажды студентов от опасности, – она называла все вещи своим именем, бранила, не стесняясь, всякую кривду и, наоборот, готова была целовать старого и малого за всякое доброе дело. Уверен, что в случае нужды она стала бы защищать своего Мутцерля с опасностью для жизни. Лично ей более чем сорокалетняя жизнь в России не принесла никаких радостей, но ее честная душа не могла не полюбить молодежь за ее часто необдуманные, но всегда честные порывы к добру; как жена Грубера, она полюбила и академию за почет, оказываемый ее мужу, и, умирая, завещала едва ли не все свое состояние медицинской академии на стипендии студентам.

Большой приятель Груберов и мой, Е. В. Пеликан, дослужившийся уже в то время до чина действительного статского советника и директорства в медицинском департаменте, следовательно видавший на своем веку много видов, говорил мне, собираясь к Груберам в гости, не иначе как «поедемте к младенцам».

По субботам у Боткина собиралась обыкновенно мужская компания, и Грубер был завсегдатаем суббот. Я же в семье Груберов играл роль истолкователя всего, чего они не понимали в русской жизни, поэтому и здесь Грубер садился подле меня, чтобы в случае чего-нибудь непонятного в разговоре прибегнуть к моей помощи. Если с ним случалась такая заминка, я получал толчок в бок со словом «Sic!» и уже знал, что делать.

О Пеликане, каким он был до знакомства с нашим кружком, я знаю лишь по слухам и очень бегло. Он принадлежал к числу тех несчастливцев, которые проводят молодость в холе, с сильной рукой за спиной, и, будучи мягки по природе, дают этой руке волю вести себя по пути житейского благополучия. Так, по окончании медицинской школы его вводят в аристократический круг, назначают полковым врачом в конно-гвардейский полк, который служил и в то еще время питомником государственных людей. Отсюда Пеликан вынес, между прочим, убеждение, что будущие государственные мужи черпали свою мудрость из

книжку», что, конечно, и совершилось.

[49] Сто сорок трактатов (*нем.*).

[50] Раз, например, весной понадобился Груберу заяц. Густи (так он называл жену) обегала чуть не все рынки и, наконец, на Сенной наткнулась на сметливого в купеческом смысле рассейца, который и продал ей гнилого зайца за шесть рублей. Это рассказывала она сама, ругая при этом любезно своего Мутцерля за его ученые прихоти.

романов Дюма-отца. Представленный этому кружку в достаточной мере, он покидает его, едет за границу для усовершенствования в науках и делается профессором судебной медицины, с тем чтобы при первом удобном случае променять ученую карьеру на чиновническую. В какой мере играли в последнем превращении его личные или навязанные ему извне вкусы, я не знаю, но к нашему приезду, будучи уже крупным чиновником, он не имел в себе ничего чиновнического. Выше было уже сказано, что по приезде в Петербург я застал его, директора департамента, за лекциями в очень скромной аудитории Пассажа. В первые же годы нашей жизни в Петербурге он основал под редакцией Ловцова журнал «Судебно-Медицинский Вестник»: значит, любовь его к научному делу была еще налицо. На своем пути он должен был встречать немало искушений; не будучи бойцом, был, вероятно, вынужден делать по временам уступки и превратился в тип усмиренного жизненной практикой человека, сохранившего, однако, способность различать истинное добро от официального. Случайно Пеликан сыграл некоторую роль и в моей судьбе. Когда я вышел из медицинской академии (об этом речь ниже), вскоре за этим Одесский университет выбрал меня профессором физиологии на физико-математический факультет, но И. Д. Делянов, замещавший тогда находившегося в отпуску графа Толстого, не решился или не хотел дать делу ход в течение почти полугода. Весной 71 г. в Константинополе имела собраться международная комиссия по противохолерному вопросу, и Пеликан отправился туда делегатом русского правительства. Проездом через Одессу он встретился с тамошним попечителем округа Голубцовым, и между ними произошел разговор на мой счет. Зная по слухам, что он лично знаком со мною, Голубцов поинтересовался узнать, действительно ли я очень опасный и вредный человек для молодежи, и прибавил, что это обстоятельство мешает моему назначению в университет. Пеликан на это даже рассмеялся и настолько уверил Голубцова в моей безвредности, что тот взял мое назначение на свой страх, и я был утвержден. Всю эту историю я слышал от самого Пеликана.

Хотелось бы помянуть добрым словом еще одного близкого приятеля того времени, умного, живого, даровитого Владимира Ковалевского, который, к сожалению, кончил слишком рано, потому что жил слишком быстро. Живой, как ртуть, с головой, полной широких замыслов, он не мог жить, не пускаясь в какие-нибудь предприятия, и делал это не с корыстными целями, а по неугомонности природы, неудержимо толкавшей его в сторону господствовавших в обществе течений. В те времена была мода на естественные науки, и спрос на книги этого рода был очень живой. Как любитель естествознания, Ковалевский делается переводчиком и втягивается мало-помалу в издательскую деятельность. Начинает он с грошами в кармане и увлекается первыми успехами; но замыслы растут много быстрее доходов, и Ковалевский начинает кипеть: бьется как рыба об лед, добывая средства, работает день и ночь и живет годы чуть не впроголодь, но не унывая. Бросает он издательскую деятельность не потому, чтобы продолжать ее было невозможно, а потому, что едет с женой за границу учиться. Дела свои он передает другой издательской фирме в очень запутанном виде, потому что вел их на широкую ногу, в одиночку, без помощников и пренебрегал бухгалтерской стороной предприятия. Когда дела были распутаны, оказалось, что издано было им более чем на 100 000 и он мог бы получать большой доход, если бы вел дела правильно. Кто не знает из биографических данных Софьи Васильевны, какую бескорыстную роль играл Ковалевский в ее замужестве? За границей жена училась математике, а муж – естественным наукам. Прожили они там, я думаю, лет пять, и ему следовало бы отдохнуть от угара издательской деятельности. Но он, к сожалению, вынес из нее не совсем верную мысль, что можно делать большие дела с небольшими средствами. Плодом этой мысли был период домостроительства в Петербурге, кончившийся крахом. Что он, бедный мечтатель-практик, выстрадал за это время, и сказать нельзя. Очутился наконец у тихой пристани профессорства, но уже поздно – слишком сильно кипел в жизни.

Ковалевский не принадлежал к Боткинскому кружку. С ним я познакомился в начале его издательской деятельности, когда моя будущая жена – мой неизменный друг до смерти – и я стали заниматься переводами, что началось с 1863 года.

В этом году вход в медицинскую академию был закрыт для женщин, и обе мои ученицы, продолжая гореть желанием жить самостоятельным трудом и служить человечеству, чуть было не обрекли себя на жизнь в киргизских степях. Дело в том, что тогда уже было заявлено начальством Оренбургского края о желательности иметь для степного магометанского населения женщин-медиков ввиду того, что женщины-магометанки упорно уклоняются от помощи медиков-мужчин. Слыша об этом, обе молодые энтузиастки решились дать начальству подписку в том, что они отправляются в степи, лишь бы им позволяли учиться в академии.

В это время они уже имели в кармане свидетельство о выдержании ими экзамена из мужского гимназического курса.

У меня не хватило тогда рассудка понять, что две молодые женщины, отправляясь в дикие степи с полуторамиллионным населением, обрекают себя на погибель без существенной пользы делу, и я подал, в желаемом ими смысле, докладную записку тогдашнему директору канцелярии военного министра Кауфману. К счастью, на эту записку не последовало никакого ответа, и мои приятельницы избавились от грозившей им беды. Говорю это серьезно, потому что, зная их образ мыслей и настроение, уверен, что они отправились бы в степи, раз им было дано формальное обещание. Засим одна из них отправилась через год учиться медицине за границу, а другая временно осталась дома и села за переводы, благо была разносторонне образованна, знала языки и умела писать по-русски.

Вчера, когда я впервые коснулся этого важного пункта о моей жизни и мне стало припоминаться все, чем была для меня вплоть до гроба эта переводчица, я долго размышлял ночью, а сегодня утром пишу ее портрет спокойно, без малейших прикрас и преувеличений.

В труде она была не только товарищем, но и примером. В ее имении была лошадь по прозванию Комар, отличавшаяся тем, что в упряжи, без всякой понуки, словно из чувства принятой на себя обязанности, держала постромки всегда туго натянутыми, а в случае нужды тянула изо всех сил, даже усталая, работая часто за других. Это был образ Марии Александровны во всех ее занятиях – в переводах, делах по деревенскому хозяйству. Как Комар вел свои дела начистоту, так и М. А.: переводы ее не требовали постороннего редакторства, именье свое она получила в руки расстроенным и поправила его настолько, что оно считалось одним из образцовых в уезде. Последним она была, впрочем, обязана не только своему трудолюбию, но и другому еще свойству своей природы: она не выносила прорех ни в чем, ни в платье, ни в хозяйстве, ни в жизни – как только они появлялись, она старалась не давать им разрастись в дыру и тотчас же принималась чинить (была портнихой и в фигуральном и в действительном смысле слова). Бывали случаи в ее жизни, где заделка прорех, происходивших обыкновенно не по ее вине, требовала с ее стороны долгих и мучительных усилий, но она все-таки штопала, штопала, и прореха закрывалась. Единственная роскошь, которую она себе позволяла, это книги, художественные альбомы, изредка театр или концерты и еще реже поездка за границу в любимую больше всего Италию. За этим обликом деятельной, умной и образованной работницы стояла женщина, умеющая владеть собою, с горячим сердцем, способным на деятельное добро. Из Цюриха, в конце ее ученья и в последней стадии франко-прусской войны, отправилась во Францию в окрестности Бельфора на помощь раненым партия медиков под предводительством профессора хирургии Розе, и она поехала с ними в качестве сестры милосердия. На ее долю выпадала вся грязная работа около несчастных остатков армии Бурбаки, в грязи, лохмотьях, с отмороженными ногами. Выдержала искус до конца. Да и у себя в деревне она не брезгала впоследствии людскими немощами крестьян и помогала в течение лета настолько серьезно и умело, что заслужила доверие населения и получила благодарность от земства. Для своих близких она была постоянно заботливой нянькой – это была едва ли не главная черта в сердечной стороне ее природы. Однако на близких она смотрела открытыми глазами и не терпела больше всего лжи и фальши. Таким образом, в ее природе были все условия, чтобы давать близкому человеку, умеющему отличать золото от мишуры, счастье в молодости, в зрелом возрасте и в старости.

* * *

В годы 1863–1867 я перевел с своей ученицей учебник физиологии Германа и учебник физиологической химии Кюне, написал в трех выпусках «Физиологию нервной системы» (Петербург, 1866) и сидел то в одиночку, то со своими учениками (Маткевич, Пашутиц, Ворошилов, Тарханов, Литвинов и Спиро) исключительно за нервной системой лягушки. Лично мне принадлежали за это время: анализ явления Броун – Секара, топография спинномозговых центров передних конечностей лягушки, межцентральные связи между спинномозговыми центрами передних и задних ног, локализация собирательных центров для конечностей лягушки в головном мозгу и отношение их к рефлексам между передними и задними ногами. Опыты эти были в свое время помещаемы в немецких журналах и подробно описаны в моей «Физиологии нервной системы», в главах III и IV. Думаю и по сие время, что был прав, описывая нервные явления, в частности, так, как они описывались в этой книге.

Весной 1863 г. я отправился с целым обществом к родным, в Симбирскую губернию. Ехали со мной: прелестнейшая старушка-немка Анна Христиановна, тетка мужа моей сестры, выезжавшая во второй раз в своей жизни из Петербурга; порученная ей и только что кончившая курс институтка; только что кончивший курс медик-хирург, вызвавшийся заняться летом деревенской практикой, и большой черный водолаз Дружок, которого я вез в подарок брату Андрею, большому любителю собак.

В Твери мы сели на пароход и проехали по Волге до Васильсурска. Восхищениям Анны Христиановны не было конца, да и я впервые любовался красотами Волги в Костромской губернии. Приехавший со мной и поселившийся у нас в доме молодой хирург, будучи студентом 5-го курса, прославился тем, что успешно вылущил у больного руку с лопаткой. В нашей глухой местности не было поблизости хирурга, и едва он появился и начал практику, как к нему стали стекаться массы народа. Смелости он был непомерной; несмотря на то что только что сошел со школьной скамейки, брался за все: снял катаракту у одной старой помещицы; вырезал моему брату геморроидальные шишки и сделал ему же операцию фистулы; сделал удачно две литотомии; пережег и перерезал множество опухолей и, ободренный успехами, зарвался до того, что решился на следующий безумный опыт (я узнал об этом лишь после того, как опыт был сделан, иначе, конечно, отговорил бы его). Приехала к нему дьячиха с огромнейшим животом; сделал ли он ей пробный прокол или нет, не знаю, но, во всяком случае, поступил безумно, впрыснув ей в живот йодной настойки, словно имел дело с водянкой яичка. С неделю корчилась бедная дьячиха от мук и уехала с таким же животом, с каким приехала. Жалостлив он тоже не был: у молоденькой гувернантки моей племянницы была бородавка на пальце, и она, конечно, пожелала избавиться от нее; на его предупреждение, что будет больно, она храбро ответила, что стерпит, и действительно вытерпела со слезами на глазах, когда он пропустил под основание бородавки две булавки накрест и перетянул ее под булавками ниткой. Как бы то ни было, но сделал он немало добра.

Лето 1864 года я жил на даче на берегу Невы и начал писать «Физиологию нервной системы».

В каникулы следующего года мы отправились с женой за границу, через Швейцарию в Италию.

Выехали в начале нашей весны, когда деревья только зазеленели; Германия была в цвету; на вершине перевала через Сен-Готард 16 мая была снежная метель, а через несколько часов за перевалом зрела уже пшеница, и на Комском озере мы ели восхитительные вишни. Побывали, конечно, и на Lago magiore; а потом из Генуи отправились морем прямо в Неаполь. Моя бедная жена жестоко страдала от морской болезни и почти всю дорогу пролежала в постели.

Из прогулок по окрестностям Неаполя особенно памятно мне восхождение на Везувий. Из Портичи мы доехали верхами почти до основания пепельного конуса. Тут привязались к

нам с услугами проводники, но М. А. решительно отвергла их помощь. День был солнечный, жаркий, и мы, я помню, отдыхали через каждые пять шагов, увязая ногами в пепле. Везувий в это время стрелял ежеминутно, выбрасывая камни и столбы дыма. Мы имели возможность подойти к самому краю старого кратера и видеть образование на его дне нового конуса, из которого и вылетали камни с дымом. Сбежали мы с вершины до подножия конуса минут в 10. Были, конечно, и на Капри в Лазоревом гроте. Из Неаполя переселились на всю остальную часть лета в Сорренто. Жили очень тихо, работая – я за нервной физиологией, жена за переводами; катались по морю в лодке, ездили на ослах по окрестностям и только.

Во все лето в Сорренто было два шумных праздника: чествование местной Мадонны и национальный праздник освобождения Неаполя от Бурбонов. Чествование Мадонны заключалось в том, что во время церковной службы шла непрерывная стрельба петард; после обедни образ Мадонны вынесли наружу и поместили в стенной нише церкви; засим появился хор музыкантов и начал, стоя перед Мадонной, давать ей серенаду не в виде какой-либо церковной кантаты, а утешать ее веселыми ариями. Другой праздник, или по крайней мере часть его, происходил на городской площади, куда были вынесены портреты Виктора Эммануила и Гарибальди. Хор музыкантов заиграл гимн Гарибальди, а публика в сотни голосов стала вторить. По окончании – гром рукоплесканий. Помню, как теперь, из жизни в Сорренто апельсинный сад вокруг домика, в котором мы жили, и его террасу, на которой в один прекрасный день появились два очень молодых человека знакомиться с нами. Это были – будущая гордость России Илья Ильич Мечников и Александр Онуфриевич Ковалевский. Помню, что я тогда только что кончил писать иннервацию дыхательных движений и почему-то прочел им этот отрывок. С обоими я потом часто встречался в жизни и буду еще иметь случай говорить о них, а теперь знакомство наше продолжалось лишь несколько дней. На обратном пути в Россию мы побывали в Риме и во Флоренции.

Писательская деятельность и работы по нервной системе потребовали сидения в течение трех лет, притом сидения в лаборатории над погребом, и настолько расшатали мое здоровье, что я со свойственной мне мнительностью стал воображать бог знает что и начал приучать себя к мысли, что, вероятно, приходится оставить профессорство. Мысленно наметил себе даже преемника в лице одного молодого человека, напечатавшего в это время две очень хорошеньких работы за границей, которого, однако, я лично не знал. Судьба, как нарочно, доставила случай познакомиться с ним при его возвращении на родину через Петербург. Мысль о нем, как преемнике, была оставлена, другого подходящего в то время налицо не было, и я попробовал вылечить себя отдыхом и водами по совету Боткина. Денег от продажи изданий у меня было довольно, и я получил весной 1867 г. годовой отпуск за границу. Начало лета провел в Карлсбаде, поправился благодаря ежедневным длинным прогулкам на воздухе и отправился в Грац к профессорствовавшему там старому другу Роллету.

Туда же приехала только что кончившая учение в Цюрихе моя бывшая ученица Суслова, с целью выработать при моем содействии докторскую диссертацию. Тема ей была дана такая, что она могла работать у себя на квартире, и как раз по вопросу для тонких женских рук – над крошечными лимфатическими сердцами лягушки. Получила она очень хорошие результаты, установив несомненным образом ряд аналогий между нервным аппаратом сердец и рефлекторными кожно-мышечными снарядами, именно – возбудимость остановившихся сердец с кожи и диастолическую остановку их при том самом раздражении средних частей головного мозга, которое вызывает угнетение спинномозговых рефлексов. Знаю, что Ад. Фик, тогдашний профессор физиологии в Цюрихе, очень одобрил эту диссертацию. Она была переведена по-русски. В начале 1868 г. приехала навестить меня М. А., а весной отправилась в Цюрих доучиваться медицине.

По возвращении в Россию, в зиму 1868 года, я читал в Художественном клубе публичные лекции, и на одну из них пришел Иван Сергеевич Тургенев. Ему, как почетному гостю, отвели место сбоку кафедры. Читал я в этот вечер о пространственном видении, и когда речь дошла до влияния степени сведения глаз на кажущуюся величину предметов –

факта, видимого лишь в стереоскоп при сдвигании и раздвигании стереоскопических рисунков, – Иван Сергеевич был так любезен, что согласился засвидетельствовать перед публикой справедливость факта, посмотрел в зеркальный стереоскоп Уитстона, стоявший на кафедре, и заявил громким голосом, что действительно видел изменение величин образов в указанном направлении.

В эти же годы ко мне вернулась прежняя хворь, общая слабость с головокружениями, не располагавшая ни к деятельности, ни к веселому настроению духа. Академические годы 1868–1869 были самыми непроизводительными в моей жизни, и, может быть, благодаря этому я относился к положению дел в академии более мрачно (может быть, даже не совсем справедливо), чем бы следовало. Это настроение кончилось в 70-м году выходом из академии, и я считаю небесполезным остановиться несколько на побудительных причинах, приведших меня к такому финалу.

В животноводстве для поддержания расы признается необходимым подновлять время от времени кровь внесением в породу посторонних элементов, иначе порода вырождается. Нет сомнения, что этот закон приложим и к небольшим группам людей, вынужденных в течение очень долгого времени родниться между собой. В какой мере тот же закон может быть перенесен и в умственную сферу людей, живущих из поколения в поколение одними и теми же интересами и руководящихся установившимися в кружке правилами и вкусами, решать я не берусь, но думаю, что и здесь введение в кружок членов с несколько иными взглядами и вкусами будет скорее полезно, чем вредно, противодействуя образованию в кружке рутины, застоя. С этой точки зрения манера, усвоенная германскими университетами, – приглашать в свою среду чужих, если они достойнее собственных учеников, – считается, я думаю, по справедливости правилом, поддерживающим процветание университетов. С этой же точки зрения, учреждение при медицинской академии профессорского пансиона, постоянно казалось мне делом несправедливым и могущим послужить во вред даже самой академии. По уставу этого учреждения в нем пребывают постоянно десять избранных учеников академии, кончивших курс, и двое из них ежегодно отправляются за границу для усовершенствования в науках, после двухлетнего усовершенствования в них в пансионе. Если же принять во внимание, что командировка за границу очень часто кончается профессурой, то становится понятным, что как только открывается место при академии, ближайшим кандидатом на него является воспитанник пансиона: его знают и начальство и профессора, он свой человек. Все это в порядке вещей. Но выигрывает ли от этого академия?

В 1870 году в нее поступило из пансиона пять новых профессоров, из которых один был действительно человек очень способный, а остальные четверо – может быть, и знающие свое дело люди – ничем не содействовали украшению академии. Злосчастного университетского устава г. Делянова тогда еще не существовало, и в университетах лекции любимых профессоров все еще продолжали посещаться не одними только слушателями своего факультета, да и товарищеское общение между студентами разных факультетов было еще свободно. Так было в мое студенчество, и я знал не один пример, что в голову студента-медика попадало много доброго с чужих кафедр. Тот, кто умел воспользоваться этим благом университетской жизни, имел шансы выйти из университета более образованным человеком, чем его товарищ, питавшийся пять лет одной медициной. Признаюсь откровенно, воспитанников академии я считал лишенными одного из существующих благ университетской жизни, и тем несправедливее казалась мне та привилегия, которой они пользовались. Свои мысли о профессорском пансионе я не держал в секрете и, конечно, не возбуждал к себе добрых чувств ни в начальстве, ни в бывших воспитанниках пансиона, ни в профессорах, считавших его благом для академии. Таким образом я не принадлежал к числу любимцев в профессорской среде (за исключением, конечно, Боткина и Грубера, с которыми только и виделся). Признаюсь дальше, очень была мне не по вкусу перемена тона в высших слоях академии с тех пор, как не стало истинно доброжелательного к академии Дубовицкого, как ушел заместивший его временно добрый старик Наранович и ушел из академии Н. Н.

Зинин.

В таких-то обстоятельствах осенью 70-го года имели быть выборы двух профессоров – на кафедру зоологии, с уходом старика академика Брандта, и на вновь открывающуюся кафедру гистологии. У меня в предмете имелись два кандидата на обе кафедры. И. И. Мечников, имевший уже в то время большое имя в зоологии, не мог пристроиться к Петербургскому университету за неимением там профессорского места и уехал профессором в Одессу, но продолжал тяготеть к Петербургу и, списавшись со мной, охотно соглашался поступить на место Брандта. Что касается второго кандидата, то прежде всего нужно заметить, что в те отдаленные времена медиков-гистологов в России не было, и таковым я знал одного лишь А. Е. Голубева, работавшего одновременно со мной в лаборатории Роллета, сильно увлекавшегося гистологией и сделавшего на моих глазах совершенно самостоятельно очень хорошую работу с влиянием электрического раздражения на стенки волосных сосудов. Кроме того, мне было известно, что Роллет очень ценил его как умелого и строгого работника.

Итак, когда наступили выборы, я, по уставу академии, имел право выставить – и выставил – обоих кандидатов. Человека, выставленного против Мечникова, было бы смешно сравнивать с последним по заслугам в науке; и этого противная партия умела, как увидим, избегнуть. Что же касается до выставленного противной стороной гистолога, их товарища по академии, то у него была гистологическая работа более крупная, чем у моего, но вышедшая из лаборатории Людвига в печать под общим именем Людвига и их кандидата, притом по одному из наиболее интересных для Людвига вопросов. Это и было выставлено мною как аргумент против самостоятельности работы их кандидата. К сожалению, я забыл тогда о письме ко мне Людвига, писавшего в ноябре 1863 г., где говорилось об этой работе[51], и мог привести контраргумент лишь в общем виде. На это мне заметили не без ехидства, что я, как человек, не занимавшийся гистологией, едва ли могу быть компетентным судьей в гистологических работах и в вопросе, что в данном случае принадлежит тому или другому исследователю. Таким образом, первый мой кандидат был провален. Перед баллотировкой один из стариков не удержался, чтобы не сказать: «Зачем нам нужно чужого, когда свой есть». Когда же очередь дошла до баллотировки Мечникова, один из профессоров встал и сказал следующее: «По научным заслугам Мечников достоин быть не только профессором у нас в академии, по даже членом Академии наук. Пригласить его можно только ординарным профессором; но зачем же нам ординарного профессора на второстепенную в академии кафедру, когда предстоит еще замещение таких важных кафедр, как накожные, сифилитические и ушные болезни. На это место нам достаточно экстраординарного профессора; поэтому я кладу Мечникову черный шар». Мечников был провален, и я в тот же или на другой день подал в отставку из академии. Остаться меня, конечно, не просили. Да это было бы и бесполезно.

Вскоре за тем стараниями Мечникова я был выбран в Одесский университет, но выбор не был утверждаем (как сказано было выше) г. Деляновым вплоть до весны следующего года. В эти месяцы я отправился в лабораторию Дм. Ив. Менделеева; он дал мне тему, рассказав, как приготовлять вещество, азотистометиловый эфир, что делать с ним, дал мне комнату, посуду, материалы, и я с великим удовольствием принялся за работу, тем более что

---

[51] Теперь, перебирая старую переписку, я нашел это письмо Людвига и выписываю из него дословно все, касающееся этого вопроса: «Mit der Nierenanatomie bin ich, nur soweit es das Schwein betrifft, im Reinen und ich werde Ihnen, wenn die Abhandlung gedruckt ist, Nachricht geben. Wenn ich wüsste wo Z (их кандидат) steckte, von dem ich seit seiner Abreise nichts weiter gehört habe, so würde ich ihm wissen lassen inwiefern das, was unter seinem und meinem Namen gedruckt wird, von dem abweicht, was wir schon gemeinsam herausgebracht». Подчеркнуты строки мною. Оригинал письма будет храниться в моих бумагах.

(Перевод с нем.: «Что касается анатомии почек, то я согласен лишь по части физиологии свиней, и я уведомлю вас, как только исследование будет напечатано. Если бы я знал, где застрял Ц., о котором я не слышал с момента его отъезда, я бы дал ему знать, насколько то, что печатается под моим и его именами, отличается от того, что мы уже публиковали».)

не имел до того в руках веществ, кипящих при низких температурах, а это кипело при 12 °С. Результаты этой ученической работы описал сам Дм. Ив. Быть учеником такого учителя, как Менделеев, было, конечно, и приятно, и полезно, но я уж слишком много вкусил от физиологии, чтобы изменить ей, и химиком не сделался.

Знаю достоверно, что о моем долго не приходившем утверждении в Одессу хлопотала, без моего ведома, графиня Шувалова, первая жена бывшего впоследствии посланника в Берлине.

С. П. Боткин лечил эту семью и находился с нею в дружеских отношениях. Через него графиня узнала о моем деле и сильно атаковала Ивана Давидовича, но тот не сдался. Все это я узнал от С. П. уже после неудавшейся атаки. Несколько позже мне представился случай заручиться еще более сильным голосом в мою пользу, но этим я не хотел воспользоваться. У меня в академической лаборатории, в последний год пребывания в ней, работал очень милый и очень бедный студент Дроздов, сын сельского священника в захолустье Вологодской губернии[52]. Очень сокрушала этого Дроздова судьба его единственной сестренки, девочки, по его словам, очень умной и способной, но лишенной всяких средств к образованию. Думали мы с ним, как пособить горю, и нашли наконец средство. Я попросил похлопотать об этом товарища по академии, профессора Эйхвальда; дело сладилось, и девочка была принята в институт, когда я уже вышел из академии. Эйхвальд хлопотал от моего имени, и мне пришлось, таким образом, благодарить высокую особу за оказанное милостивое внимание к моей просьбе. Пошел я с единственной мыслью – благодарить, и первыми моими словами было, конечно, изъявление благодарности, но затем меня спросили о немецких профессорах, у которых я учился, специально о Брюкке; заметили мимоходом, что я напрасно напечатал «Рефлексы головного мозга», на что я ответил (разговор происходил на немецком языке): «Man muss doch die Courage haben seine Ueberzeugungen auszudrücken»[53]. А в заключение я был спрошен, знаю ли лично г. Делянова и в каком положении находится вопрос о моем переселении в Одессу. Этот вопрос был, вероятно, сделан с доброжелательною целью – облегчить выход затаенной просьбе наружу. Но мне и в голову не приходило просить о получении места, и на этот вопрос я ответил: «Ich gedenke mich in diese Angelegenheit ganz neutral zu verhalten»[54]. Тем свидание и кончилось. Выше было уже сказано, что мое утверждение в конце концов состоялось и каким именно образом.

О жизни в Одессе, этом милом полуевропейском городе, у меня сохранились по сие время самые приятные воспоминания.

Профессорство в Одесском университете (1870–1876)

Переселившись в Одессу, я решил заниматься абсорпциометрическим вопросом о состоянии CO_2 в крови; поэтому первым долгом пришлось устраивать абсорпциометр и ряд неизбежных для таких опытов придаточных снарядов из стекла. По счастью, при университете был механик, сумевший приготовить, по моим указаниям, металлические части снаряда; а стекло пришлось оборудовать самому, так как дульщика стекла в Одессе не было, я же немного мараковал в этом искусстве[55] и умел делать трубки. Помещение под

---

[52] Он сделал очень интересное наблюдение – исчезание из крови лягушки белых кровяных шариков при отравлении кураре.

[53] «Каждый должен иметь мужество, чтобы выразить свои убеждения» (*нем.*).

[54] «Я намерен вести себя в этом вопросе полностью нейтрально» (*нем.*).

[55] Уже будучи профессором в медицинской академии, в одну из поездок в Берлин я брал уроки дутья у тамошнего дульщика Гейсслера, преисполнившегося важности преподаваемого предмета и бравшего с меня по этой причине фридрихсдор за урок (больше 5 руб.). Дорого заплатил за учение, но зато получил возможность

лабораторию я получил очень хорошее, но нисколько не приспособленное к работе; поэтому пришлось немало похлопотать и в этом направлении. Всеми новыми товарищами я был принят очень радушно; но в это время единственно близкого мне И. И. Мечникова не было – он был в годовом отпуску, а два другие выдающиеся ученые, служившие украшением естественного факультета, химик Н. Н. Соколов и ботаник Ценковский, покидали университет и сблизиться с ними я не мог. Поэтому в первый год пребывания в Одессе мою компанию составляли: А.А. Вериго, очень оригинальный и милый консерватор зоологического музея Видгальм и мой ассистент П. А. Спиро, переехавший со мной из медицинской академии в Одессу.

Поздней весной 1871 г. жена защищала в Цюрихе докторскую диссертацию, и я поехал в Швейцарию праздновать окончание ею курса. Желая на радостях доставить удовольствие своей подруге по университету, тогда еще студентке, мисс Иокер, она пригласила ее прокатиться по Швейцарии, и мы втроем отправились через Рагац, где, конечно, не преминули полюбоваться диким ущельем Тамины (Taminaschlucht). С вершины перевала Иокер отправилась обратно, а мы поехали в Италию, в деревушку San Terenzo на берегу моря. Поселились там как раз подле того исторического дома, где жили Байрон и Шелли, утонувший в заливе San Terenzo. Итальянская Ривьера тогда не существовала; приехали мы в простенькое, дешевое San Terenzo насладиться морем; оно было у наших ног, и мы им действительно наслаждались, пробыв там месяца полтора. Жили, конечно, очень тихо, занимаясь переводами; купались и гуляли по окрестностям. На возвратном пути были во Флоренции, Венеции и Вене. В последнем городе расстались: жена поехала в Петербург держать экзамены на право практики (право это она получила в декабре 1871 г.), а я – в Одессу. На Рождестве этого года я побывал в Петербурге. Здесь мы познакомились с офтальмологом Ивановым, профессором Киевского университета, который предложил М. А. ассистентство в его клинике. Она, однако, имела в виду ехать в Вену доучиваться и уехала в январе 1872 года.

Как прошла для меня зима 1881 г., было уже сказано. В следующем году начал формироваться тот настоящий дружеский кружок, из-за которого я люблю Одессу и по сие время. Вернулся из-за границы И. И. Мечников. Приехал из Москвы на кафедру математической физики совсем еще молодой человек, Н. А. Умов, произведший большое впечатление своей вступительной лекцией. Поступил на кафедру римского права другой москвич, Дювернуа, и прочел очаровательную вступительную лекцию. А еще через год привез в Одессу Н. А. Умов свою молоденькую жену, мою будущую милую, дорогую куму; и кружок был в комплекте – составил ядро, к которому примкнул позднее Кондаков с женой. Елена Леонардовна Умова имела тогда вид молоденькой девушки, с двумя самыми привлекательными чертами неиспорченной юности – искренностью и порывистостью. В новом для нее положении она то плакала по покинутой Москве, то сияла и радовалась настоящему. Да и в мужья ей дал бог доброго, деликатного и любящего человека, умевшего утешать свою Леночку в ее наивных горестях. Для дружеского кружка трудящихся семейный дом столько же необходим, как теплый уютным угол для усталого. Таким соединительным звеном-салоном кружка стала квартира Умовых. Хозяин, кроме утонченной любезности, оказался завзятым хлебосолом; хозяйка представляла элемент сердечности; я имел значение еще не совсем состарившегося дядюшки, а душою кружка был И. И. Меч ни ков.

Из всех молодых людей, которых я знавал, более увлекательного, чем молодой И. И., по подвижности ума, неистощимому остроумию и разностороннему образованию я не встречал в жизни. Насколько он был серьезен и продуктивен в науке – уже тогда он произвел в зоологии очень много и имел в ней большое имя, – настолько же жив, занимателен и разнообразен в дружеском обществе. Одною из утех для кружка была его способность ловко подмечать комическую сторону в текущих событиях и смешные черты в характере лиц, с удивительным умением подражать их голосу, движениям и манере говорить. Кто из нас,

---

работать в Одессе.

одесситов того времени, может забыть, например, нарисованный им образ хромого астронома, как он в халате и ночном колпаке глядит через открытое окно своей спальни на звездное небо, делая таким образом астрономические наблюдения; или ботаника с павлиньим голосом, выкрикивающего с одушевлением и гордостью длинный ряд иностранных названий растительных пигментов; или, наконец, пищание одного маленького забитого субинспектора, который при всяком новом знакомстве рекомендовал себя племянником генерал-фельдцейхмейстера австрийской службы. Все это Мечников делал без малейшей злобы, не будучи нисколько насмешником. Да и сердце у него стояло в отношении близких на уровне его талантов – без всяких побочных средств, с одним профессорским жалованьем, он отвез свою первую больную жену на Мадеру, думая спасти ее, а сам в это время отказывал себе во многом и ни разу не проронил об этом ни слова. Был большой любитель музыки и умел напевать множество классических вещей; любил театр, но не любил ходить на трагедии, потому что неудержимо плакал.

С А. О. Ковалевским, нашим знаменитым зоологом, до его приезда из Киева в Одессу, я встречался мельком два раза: в Сорренто (было уже сказано выше) и в Петербурге, в моей лаборатории медицинской академии. В Одессу он приехал, кажется, за год до моего возвращения оттуда в Петербург. Впоследствии он сделался членом нашего кружка, но в первый год, будучи семейным человеком и немного бирюком, не сразу сошелся с нашей компанией; поэтому я не успел узнать его как члена оной, но успел узнать и оценить как профессора. Очень оригинально было его вступление. В первые годы моего пребывания на месте профессора богословия при университете доживал свой век очень умный и заслуженный протоиерей, не вмешивавшийся в университетские дела. Свой пост он оставил по преклонности лет, а на его место поступил молодой священник, понявший свое назначение, должно быть, так, что ему надлежит следить за преподаванием наук в университете, насколько оно соответствует православию. С такими мыслями он не преминул посетить вступительную лекцию нового профессора А. О. Ковалевского. К вящему его смущению, новый профессор оказался еретиком – завзятым дарвинистом. Батюшка наш встал на дыбы и, по словам профессора Богдановского, замышлял послать министру громовое донесение на лектора и его учение; насилу его убедили, что дарвиновской ересью настолько заражены все зоологи, что найти свободного от оной невозможно.

Профессор Дювернуа мне очень нравился, как умный, крайне благовоспитанный и хороший, честный человек; бывал у нас частым гостем, не будучи завсегдатаем кружка. Нельзя не помянуть добрым словом еще троих профессоров: Головкинского, известного геолога, и двух очень ученых чудаков – слависта Григоровича и археолога. Эти двое были не от мира сего, особенно Григорович, считавший едва ли не самым главным делом своей жизни то, что ему удалось украсть в одном из афонских монастырей какую-то очень важную рукопись и обнародовать ее. В Одессе же он прославился тем, что сумел отрекомендовать на открывшуюся кафедру своего действительно достойного кандидата таким образом, что на нее попал не его кандидат, а другой, однофамилец последнего.

Кружок наш составлял партию в университете лишь в следующем отношении: мы не искали ни деканства, ни ректорства, не старались пристроить к университету своих родственников и не ходили ни с жалобами, ни с просьбами о покровительстве к попечителю, чем занимались довольно многие в университете. Увы! был в профессорской среде даже такой господин, который сделал донос местному цензору, надворному советнику, на своего товарища, редактора университетских записок, будто тот фальсифицирует протоколы заседаний. Я был в заседании совета, когда обвиненный в фальсификации профессор канонического права Павлов публично, громким голосом, в присутствии доносчика произнес: «На меня г… донес г. цензору, будто я фальсифицирую протоколы заседаний; поэтому прошу нарядить следствие…» Доносчик не пикнул. Он, кажется, пребывает и по сие время в почете.

Жили мы тихо – утро за делом в лаборатории, а вечером большей частью в нашем салоне, за дружеской беседой и нередко за картами. Грешный человек, карточную игру, но

безденежную, ввел я и, как любитель оной, яростно нападал на нашу милую хозяйку, когда она делала ошибки[56]. Помимо этих вспышек, вел я себя смирно: не совратил с пути за два года ни единого студента, не вызвал ни единого бунта, не строил баррикад и привел всем этим взявшего меня на поруки попечителя в такой восторг, что в 1873 г. он сделал меня действительным статским советником и даже самолично приехал ко мне на квартиру поздравить с этой радостью.

Весной 72-го года я отправился в Вену, где жена кончила свое учение. Имелось в виду съездить в Париж и Лондон. Но прежде всего нужно было отдохнуть в каком-нибудь тихом уголке от экзаменных треволнений в Петербурге и ежедневной беготни по клиникам в Вене. Таким уголком мы выбрали тихий и красивый Гмунден, где и поселились в меблированных комнатах на берегу озера. Отдыхали дней пять, не ожидая никакой напасти, а она стояла у дверей. Менее чем через неделю М. А. стало сильно лихорадить, на лице показалась сыпь, и она вспомнила, что накануне выезда из Вены ей пришлось выслушивать в детской больнице двух детей – одного в оспе, другого в кори. Сначала определила у себя корь, но потом стала сомневаться, и мы были вынуждены пригласить туземного доктора. Этот определил оспу и сказал, что больную необходимо отправить в больницу при общине сестер милосердия, которая обязана принимать в больницу заразных больных. Легко представить себе, с каким чувством я пошел к начальнице общины заявить о случившемся. Она, видимо, испугалась, но, конечно, ответила, что больная будет принята, только не сегодня, потому что нужно приготовить помещение, а завтра, и что больной будут присланы носилки. Остальная часть этого памятного дня и ночь были самыми скверными часами в моей жизни. К утру я задремал и вдруг слышу веселый голос из соседней комнаты: «А ведь у меня не оспа, а корь». Вскакиваю. Больная сидит в постели с зеркалом в руках и смеется… Ранним утром тот же доктор, согласно данному обещанию, пришел к нам и, в свою очередь, убедился, что это корь. Носилки и переселение в больницу были, конечно, отменены. Из-за этого пришлось, однако, прожить в Гмундене недели две лишних.

В Париже мы пробыли, должно быть, с месяц. Перебывали во всех музеях, парках и садах, были в Сен-Клу и Версале, слышали прелестного тенора в Opéra comique[57], побывали в Палерояльском театре, избегали множество улиц в день национального праздника (14 июля), любуясь веселыми танцами парижан на открытом воздухе, – словом, прожили в Париже приятнейшим образом, несмотря на нестерпимую жару того лета. В конце июля переехали в Лондон. Здесь М. А., помимо посещения достопримечательностей, стала ходить в глазные больницы, а я, за краткостью времени и по неумению говорить по-английски, не мог извлечь пользы из пребывания в Англии и в половине августа отправился прямо в Одессу. Рождество мы прожили вместе в Одессе, а лето 1873 г. – в Тверской губернии, в деревне матери М. А.

Зиму 73-го и начало 74-го года я был по уши в работе. Лето мы провели в Крыму.

Зимой 1875 г. прибыла в Одессу компания трех действительных статских советников, с тайным советником во главе, объезжавшая все российские университеты с оригинальной миссией – спросить всех русских профессоров, и именно каждого в отдельности, что они думают об имевшемся в виду и, конечно, уже заранее решенном введении у нас, по примеру Германии, государственных экзаменов. Зачем понадобилось утруждать сановников и не поступить проще – разослать тот же вопрос циркулярно по всем университетам для обсуждения его в факультетах и советах? Ведь отзывы коллегий были бы, во всяком случае, более ценны, чем ответы отдельных лиц в разговорах (разговор со мной, например, длился не более двух минут). Это был первый акт недоверия к университетским коллегиям, а может

[56] У Мечникова была наследственная страсть к картам, но он боялся играть даже без денег; садился возле нас, когда мы играли, и даже в качестве зрителя волновался и краснел, следя за перипетиями нашей борьбы.

[57] Театр комической оперы.

быть, и опасение, что они найдут эту меру для России неудобной (что и оказалось на деле), и отзыв их спрятать под сукно будет менее удобно, чем изустные ответы, записываемые самой комиссией бесконтрольно. Может быть, даже комиссии надлежало познакомиться попутно с образом мыслей профессоров не только по этому вопросу, но и по университетским делам вообще. Интересно было бы знать, во что обошлась эта оригинальная прогулка, если, паче чаяния, каждый из них получал по чину прогоны на 12 лошадей, проехал около 3000 верст и находился в путешествии около двух месяцев, получая суточные, конечно, рублей по десять. Но это была только прелюдия к тому грандиозному фарсу, который не сходит со сцены русской жизни лет двадцать под именем государственных экзаменов и оплачивается для шести только университетов (не считая Варшавского, Дерптского, медицинской академии и двух технологических институтов) следующим образом: ежегодно в двадцать два факультета посылаются двадцать два председателя экзаменационной комиссии с вознаграждением в 1000 р. каждому; половина этой суммы идет, вероятно, на вознаграждение его помощника и экзаменаторов, да львиная доля в пользу верховного председателя всех комиссий. Таким образом, эта комедия обошлась казне за двадцать лет более чем в 600 000 руб., а между тем это комедия не в фигуральном, а истинном смысле слова. Выпускных экзаменуют по-прежнему их учителя, руководствуясь, конечно, не казенными экзаменационными программами, а тем, что читали сами; да и со стороны снисходительности к познаниям будущих чиновников существенной перемены не произошло – кто был строг на прежних негосударственных экзаменах, тот остается таким же и теперь, и наоборот.

В то самое время, как нас исповедовала комиссия г. Делянова, Одессу посетил сам министр, граф Дмитрий Андреевич Толстой, объезжавший учебные заведения южной России. В Одессу он приехал из Феодосии. Желая побеседовать с профессорами об университетских делах, он приглашал нас к себе на квартиру пофакультетно – сначала филологов, потом юристов и в последнюю очередь нас, естественников. При этом приеме присутствовал, конечно, попечитель, представляя министру каждого из нас поименно. Когда очередь дошла до меня, он очень любезно сказал следующее: «В Феодосии я имел удовольствие познакомиться с вашей племянницей, она при мне превосходно отвечала из истории». Столь же любезно он выслушал мое заявление, что напрасно из биологического отделения факультета изгнана математика; а слова Мечникова, что в Германии систематикой растений и животных занимаются гимназисты, а у нас приходится учиться этому студентам, он выслушал рассеянно, чуть не зевая. Вот что сделали ежегодные благоприятные донесения о моем поведении попечителя, близкого ему человека! Но это не все.

Незадолго до того с естественного факультета Петербургского университета ушел г. Цион, бывший там экстраординарным, и университет, желая получить меня на его место, справлялся в министерстве, возможно ли это. Министр, будучи в Одессе, очевидно, знал об этом. Перед его приездом одесская дума, хлопотавшая получить политехнический институт, давала в честь министра обед, на который были приглашены и все профессора университета. Прощаясь с нами после этого обеда, министр спросил меня, желаю ли я быть переведен в Петербург, и, получив в ответ согласие и благодарность, перевел меня весной следующего года. По поводу моего двойного переселения – из медицинской академии в Одессу, а из Одессы в Петербургский университет – кто-то не без остроумия заметил: «Сеченов употребил пять лет на переход с Выборгской стороны на Васильевский остров».

Описав, таким образом, внелабораторную жизнь в Одессе, перехожу к описанию того, что делалось мною в лаборатории.

Почти пять лет я занимался здесь вопросом о состоянии CO2 в крови, и этот с виду простенький вопрос потребовал для своего решения не только опытов со всеми главными составными частями крови порознь и в различных сочетаниях друг с другом, но еще в большей мере опытов с длинным рядом соляных растворов.

Состояние газа, поглощенного жидкостями, можно вообще изучать двояким образом: наблюдая различные условия выделения его из жидкости или, наоборот, изучая условия его поглощения жидкостями, и второй, несомненно, более плодотворный, чем первый, потому

что в его прямых показаниях заключаются и показания обратные – в условиях поглощения газа и условия для его выхождения. Оба эти способа были пущены в ход моими предшественниками, дали много ценных отдельных результатов, но по основному вопросу не пошли далее того, что было сказано выше.

Приняв на себя задачу изучать состояние $CO2$ в жидкой части крови и в кровяных шариках, я пошел вторым путем, с каковой целью мне пришлось устроить при скудных условиях мастерских Одесского университета абсорпциометр.

Кто знает, как трудно налаживается новое дело, требующее многих приспособлений, тот поймет, сколько времени и труда было потрачено на одни приготовления; а затем предстояло работать с такой сложной жидкостью, как кровь. Вступив в эту область, никем еще не изведанную абсорпциометрически, я не мог не увлечься сравнительной легкостью получения верных результатов, и таким образом работа моя распалась на две части – с кровью и растворами солей. Дело через это сильно затянулось, но раскаиваться повода не было, потому что опыты с солями дали сами по себе ценные результаты и, во всяком случае, помогли разобраться в явлениях, представляемых кровью.

Жидкая часть крови устроена, в деле выполнения своей дыхательной функции, лучше, чем вода, и лучше, чем водный раствор углекислой щелочи, – она черпает $O2$ в тканях сильнее воды и отдает ее в полость легкого легче, чем бикарбонат.

Дыхательный обмен между кровью и тканями происходит, вероятно, следующим образом: кровяные шарики, теряя здесь $O2$, делаются через это более способными притягивать $CO2$.

Наибольшая масса этого газа поступает из тканей, конечно, в жидкую часть крови, но часть зачерпнутой ею угольной кислоты переносится на кровяные шарики, – и не только часть растворенного, но и химически связанного газа. Переход этот должен совершаться во время протекания крови по венам, и тут мелкая раздробленность кровяных шариков, как громадное увеличение поверхности их соприкосновения с жидкостью, представляет для такого перехода очень выгодное условие.

Одесскую работу с солями будет удобнее описать в связи с ее продолжением и концом в лаборатории Петербургского университета.

Из Одессы в Петербург я переехал в начале мая 1876 г. и пробыл в Петербургском университете двенадцать лет.

(С тех пор как были написаны эти строки, прошло почти два месяца – сначала болезнь, потом война с Японией. Беда быть уже ни на что негодным стариком в такое тяжелое время – мучаешься тревожными ожиданиями, и опускаются бесполезные руки. Попробую опять бежать от настоящего в прошлое.)

Профессорство в Петербургском университете (1876–1888)

Приезд из Одессы в Петербург памятен мне тем, что на другой день по приезде был тот единственный майский мороз, в 6° по всей России, до Кавказа и Крыма включительно, которым задержалась древесная растительность чуть ли не до половины лета. Приехал я с юга, конечно, в летнем платье, остановился у зятя Михайловского и, имея на другой день представиться министру, принужден был ехать туда в енотовой шубе зятя. Университетское начальство приняло меня любезно и дало отпуск на каникулярное время. Лето я прожил в имении жены, и с этих пор наша семейная жизнь стала наконец оседлой, без временных разлук и переездов с места на место. Поселились мы на Васильевском острове, этой милой университетской части города, благо все наши родные и друзья (между ними и Софья Васильевна Ковалевская с мужем) жили там же.

К Петербургскому университету того времени и к его физико-математическому факультету в особенности я преисполнен по сие время великого уважения. Не говоря о том, что сидеть рядом с такими людьми, как Чебышев, Менделеев и Бутлеров, было для меня большой честью, – университетская коллегия того времени представляла поразительный

пример дружного единодушия по всем насущным вопросам университетской жизни. Посещая аккуратно заседания факультета и совета, я за все одиннадцать лет не был свидетелем ни там, ни здесь ни единого враждебного столкновения, ни единого грубого слова. А между тем университет переживал тогда очень трудные времена, и ему приходилось заниматься иногда очень щекотливыми вопросами. Известно, что в 70-х годах прошлого века правительственная реакция против анархистского террора достигла апогея и выразилась, между прочим, целым рядом административно-полицейских воздействий на быт студентов. Дошло до того, что студентов, замешанных в университетских беспорядках, лишали, по окончании курса, прав поступать на государственную службу. Несчастного устава г. Делянова, отделившего студентов от профессоров пропастью, тогда еще не существовало, и петербургская профессорская коллегия не сочла себя вправе молчать. По предложению некоторых профессоров была образована комиссия для рассмотрения дела и составления защитительной докладной записки министру, что и было сделано. В совете нашлось только два человека, не подписавших этой записки. Кончилось, конечно, ничем – министр ответил выговором коллегии и замечанием, что забота о судьбе студентов предоставлена начальству, а не профессорам.

Другой повод вспоминать этот период петербургской жизни с любовью и уважением – это Бестужевские женские курсы, где я был преподавателем в течение нескольких лет и мог убедиться на деле в серьезном значении этого истинно благородного учреждения. Это был женский университет о двух факультетах, в настоящем смысле слова возникший из частной инициативы и поддерживавшийся почти исключительно своими средствами. Это было в то же время крайне оригинальное учебное заведение, в котором начальница – хорошая, добрая, честная Надежда Васильевна Стасова – и ее помощницы работали даром, вкладывая в дело не только всю свою душу, но и собственные карманы, и поддерживали дисциплину в заведении не строгостями и наказаниями, а любовным отношением к воспитанницам, уговором и лаской. Что это был университет, доказательством служит систематичность 4-летнего курса, читавшегося профессорами, доцентами университета и даже некоторыми академиками. Я читал на курсах то же самое и в таком же объеме, что в университете, и, экзаменуя ежегодно и там и здесь из прочитанного, находил в результате, что один год экзаменуются лучше студенты, а другой – студентки. Помню даже, что за все мое более чем сорокалетнее профессорство самый лучший экзамен держала у меня студентка, а не студент, – дочь знаменитого немецкого раскопщика греческих древностей. Да, это была заря высшего женского образования в России, и студентки учились прямо-таки с увлечением, – я не раз был свидетелем, как они занимались в стенах своего университета в послеобеденное время. Да и могло ли быть иначе: немногие шли туда от скуки или из моды, а большинство стремилось сознательно и бескорыстно к образованию как к высшему благу, – говорю «бескорыстно» потому, что оно не давало тогда курсисткам никаких прав, а впоследствии даже лишало их таковых. Кто знал добрую, кроткую начальницу заведения, для того было наперед ясно, что тут царствовал дух любви и снисхождения; а между тем жизнь на курсах протекала более мирно, чем в заведениях с строгостями и наказаниями. Нет сомнения, что в те смутные времена бывали случаи обнаруженного участия отдельных курсисток в более или менее важных политических провинностях, и это обстоятельство, при тогдашнем огульном подозрении учащейся молодежи в политической неблагонадежности, отразилось на слушательницах Бестужевских курсов следующим образом. До начальства дошло, что бестужевки, выходя из заведения со свидетельствами об окончании курса, пользуются для получения места не этими свидетельствами[58], а аттестатами из средних учебных заведений, полученными до поступления на курсы. Поэтому в одно прекрасное утро петербургский обер-полицеймейстер Грессер вытребовал с курсов аттестаты среднеучебных заведений всех учащихся бестужевок и вернул их через некоторое время с приложением к ним нарочито

---

[58] Что понятно само собою, так как свидетельства эти не давали никаких прав.

изготовленных печатей, в которых значилось, что предъявительница есть бестужевка. Понятно, что рядом с этим было сделано распоряжение о недопущении к учительству лиц с такими печатями. В это время преподавателем богословия на курсах был ректор петербургской семинарии, протоиерей Розанов, – даже и он в разговоре со мной находил эту меру несколько преувеличенной. Не менее оригинальна была позднейшая реабилитация бестужевок в глазах начальства. Незадолго до распоряжения о закрытии курсов г. Делянов находит это заведение вредоносным даже в нравственном отношении; но как только эти самые курсы остались помимо него существовать и в главу их был поставлен коронный директор и такая же инспектриса с помощницами (платить жалованье всем этим лицам, 8000 руб., должны были сами курсы), заведение оказалось и благоприличным и добропорядочным.

Во всяком случае, Бестужевские курсы первого периода их существования представляют назидательный пример того, что могла бы сделать в России частная инициатива, если бы ей давали простор.

В конце 70-х годов жить в Петербурге, да еще в университетских кварталах города, было не особенно приятно: улицы кишели «гороховыми пальто» для наблюдения за обывателями вне домов, а внутри домов жильцы были отданы под присмотр дворников и через них под присмотр прислуги. В самые смутные годы этого тяжелого времени мы жили с женой в 4-й линии, почти на углу Большого проспекта, и одно время прямо против нас был, должно быть, очень подозрительный для полиции дом. Наша тогдашняя прислуга, очень добрая и хорошая женщина, относилась не без участия к трудностям службы «агентов», ежедневно дежуривших днем и ночью на углу нашей улицы и Большого проспекта, признавая в то же время, что они получают хорошее вознаграждение, 50 руб. в месяц. На ночь, по ее словам, один из агентов получал от нашего дворника стул и, поселившись на чердаке нашего дома, наблюдал за верхними этажами противоположного.

По счастью, прислуга наша не имела предательской наклонности подслушивать за дверьми, и лично мы пережили смутное время благополучно. Однако мне все-таки довелось прийти случайно в прикосновение с историей, возникшей по доносу прислуги. В те годы один из моих учеников, В., жил с двумя родными сестрами по-семейному, т. е. они нанимали общую квартиру, держали кухарку и стряпали дома. Брат кончал курс в университете, старшая сестра училась на медицинских курсах, а младшая была бестужевка, составляла лекции по физике и литографировала их, вследствие чего на квартире было множество исписанной бумаги. Обстоятельство это показалось кухарке подозрительным, и по ее доносу в одну прекрасную ночь всех троих взяли после тщательнейшего обыска мебели, постельных тюфяков и даже стен (это я узнал от арестованных). Узнал я о постигшей их судьбе от одного из приятелей В. на другой же день их ареста и узнал от него же, что арест был произведен не тайной, а явной полицией.

Зная В. в течение нескольких лет как человека, занимающегося со страстью и с успехом научными вопросами, а не политикой (в то время он уже напечатал в немецком Архиве Пфлюгера превосходную работу), я написал о нем пространную докладную записку и явился с ней к обер-полицеймейстеру Грессеру. Он сначала стал было отнекиваться, когда я заявил, что В. арестован его полицией, но наконец смиловался, навел справку и, убедившись в справедливости моего заявления, просил прийти к нему за ответом дня через два, что я, конечно, и сделал. При моем появлении в кабинете он распорядился, чтобы привели арестованных, и отпустил их на волю с наставлением быть осторожными в такие времена, а меня по их уходе отпустил с заявлением, что доверяться теперешней молодежи невозможно.

В Петербурге жила тогда большая компания родных: моя старшая сестра Анна Михайловна (любимица моей жены) с мужем Н. А. Михайловским; брат Рафаил с женой Екат. Вас. (урожденной Ляпуновой) и дочкой Наташей; два брата студента Ляпуновы (племянники Екат. Вас.), которых я знал еще детьми, и семья Крыловых: муж (Ник. Александр.), жена Софья Викторовна, сын Алексей (будущий моряк), свояченица Алекс. Викт. и маленький воспитанник-француз Виктор Анри. Все это были простые, превосходные

люди. Старики мирно доживали свой век, а молодежь училась с таким рвением и успехом, что все четверо стали известными деятелями науки. В настоящее время Алекс. Мих. Ляпунов – выдающийся математик и академик; брат его Борис Мих. – профессор в Одессе и ученейший славист; Алексей Крылов – математик-изобретатель и кораблестроитель; Виктор Анри – известный физиолого-психолог. Из товарищей по университету я сошелся всего ближе с милым, добрым Дм. Конст. Бобылевым, водил знакомство с семьей Анд. Ник. Бекетова, бывал у Дм. Ив. Менделеева, Фед. Фом. Петрушевского и проф. Поссе. Кроме того, познакомился с семьями Ал. Ник. Пыпина и Над. Вас. Стасовой.

Понятно, что моя внеуниверситетская жизнь протекала преимущественно дома и в кругу родных за невинным бездельем в виде безденежного винта, чтения литературных новостей и даже хорового пения, благо старший Крылов знал множество веселых русских песен, а брат Рафаил был большой любитель пения.

Из событий этого периода петербургской жизни приведу еще два: историю с академией наук и историю с званием заслуженного профессора.

Выше было сказано, что, благодаря рекомендации одесского попечителя Голубцова, Дм. Андр. Толстой отнесся ко мне очень дружелюбно и перевел меня в Петербург. Вероятно, благорасположение Дм. Андр. ко мне продолжалось и долее, когда он сделался министром внутренних дел и президентом Академии наук, потому что нежданно-негаданно для меня Ягич (тогда профессор в университете и академик) обратился ко мне с вопросом, пойду ли я в академию, если меня выберут. В этот раз мне нечего было бояться «красных ушей», и я дал согласие. Вслед за этим Овсянников попросил у меня список моих работ; дело представления пошло, и мне стало известно, что в отделении я избран. Вскоре за тем, на мое счастье[59]. случилось следующее обстоятельство. Дело было весной, в утро праздника Вознесения; иду я по Василеостровской набережной в лабораторию и недалеко от университета, вероятно задумавшись, прохожу мимо идущего навстречу господина, не узнавая его в лицо; но, пройдя мимо, узнаю, что это был Дм. Андр. Узнай я его в минуту встречи, я, конечно, не преминул бы поклониться ему; но теперь возвращаться назад с извинением было поздно. Через несколько дней мне сообщили, что президент академии положил на мое избрание veto, и я не был допущен до баллотировки в общем собрании.

Возможно, что в некоторой связи с этим академическим инцидентом стояло и другое мое фиаско, хотя деятелем здесь был другой граф – Иван Давыдович. Не помню, каким образом, сам ли я догадался, или кто меня надоумил, но только в 1887 г. я вспомнил, что профессорствую уже 27 лет, а за вычетом года отставки – более 26. Когда я заявил об этом в университетской канцелярии, поднялось дело о моем представлении в звание заслуженного профессора. Много ли, мало ли прошло затем времени, но раз сижу я в совете, и прочитывается между прочим бумага от министра, в которой заявляется отказ на представление, потому дескать, что из 26 лет следует вычесть 10 лет, проведенных мною профессором в медицинской академии. Это было тем более непоследовательно, что медицинская академия, как медицинский факультет, совершенно равнозначна университетским факультетам. Ректор обратился к совету с вопросом, не найдет ли он нужным обратиться к г. министру с просьбой отменить выслушанное решение. Но прежде чем совет мог высказаться, я с своей стороны обратился к нему с просьбой не делать этого, так как уступка со стороны г. министра имела бы значение оказанной мне милости, а милость я могу принимать только от государя, но никак не от министра. Много лет спустя уже в Москве, к немалому моему огорчению, и, конечно, без ведома с моей стороны, меня все-таки произвели в заслуженные, и я, таким образом, лишился желанного мною оригинального звания «незаслуженного профессора», несмотря на 40 лет профессорства.

Из внеуниверситетских событий за время моего пребывания в Петербурге следует отметить последний юбилей Грубера, 25-летний юбилей С. П. Боткина и банкет в честь

---

[59] Ниже будет показано, почему я сказал здесь не «на беду», а «на счастье».

генерала Радецкого по окончании последней турецкой войны.

У нас, в России, Грубер вполне заслуживал юбилеев редким в нашей стране трудолюбием и примерным выполнением принятых на себя обязанностей. Имея, кроме того, наивность измерять свои ученые заслуги числом находимых им ежегодно аномалий, он считал юбилеи заслуженною данью его учености и страстно любил эти праздники с их хвалебными речами и подношениями. Зная за ним эту слабость, друзья и почитатели устроили за 45 лет его профессорства в России три юбилея. Юбилеи Грубера начинались приветствиями подчиненных в анатомическом театре; за ними следовал прием депутаций в одной из зал медицинской академии; отсюда праздник переносился для друзей на его квартиру и заканчивался юбилейным обедом, на который он являлся торжественно, под ручку со своей верной Густи, которая шла счастливая, с букетом в руках, сиянием на лице и слезами на глазах. Счастье честного труженика Грубера и его милой верной жены было прямо-таки трогательно.

Юбилей Боткина носил иной характер и был, по моему мнению, испорчен известной пышностью и тем, что празднику был придан характер чествования юбиляра не столько ученым сословием, сколько городом и его представителем, городским головой, словно звание Боткина, как гласного думы, шло впереди его ученых заслуг. Праздник в зале городской думы начался музыкальной кантатой, сочиненной на этот случай Балакиревым, как только юбиляр показался в зале, встреченный громом аплодисментов. Для него и всех его близких была устроена настолько возвышенная над присутствующими эстрада, что говорившим речи приходилось сильно поднимать голову к лицу стоявшего на эстраде Боткина. В заключение всего в речи городского головы упоминалось имя Ньютона. Такое пересаливание, хотя и обычное в русских юбилеях, мне очень не нравилось; некоторые из приближенных заметили это и сочли, кажется, завистью с моей стороны; но завидовать, право, было нечему: положение именинника мне всегда казалось несколько глупым, и я всю мою жизнь избегал именин и чествований; да и сам Боткин заявил мне после всех своих праздников, что выносить юбилейные торжества – неприятная обязанность.

Генерала Радецкого, как бывшего воспитанника инженерного училища, петербургские инженеры чествовали по окончании последней турецкой войны торжественным обедом. Меня пригласил на этот обед гостем генерал Александр Иванович Савельев, бывший в мое кондукторство дежурным офицером. За главным столом насупротив генерала Радецкого сидели председатель банкета генерал Кауфман и два главных гостя – Достоевский и Григорович (оба воспитанники училища). Первую речь военного содержания говорил генерал Леер; за ним очень весело и бойко описал старые порядки в училище Григорович (Достоевский почему-то молчал); после этого сказал несколько очень ловких слов Эвальд, бывший в мое кондукторство учителем физики в училище, а затем потребовали, чтобы говорил и я. Если бы я знал, что это случится, то приготовился бы; а теперь приходилось говорить экспромтом. К счастью, еще в памяти сохранились главные эпизоды войны, с которыми было связано имя Радецкого: переход его первым через Дунай, защита Шипки и последнее сражение за Балканами, которым кончилась война. Все это было упомянуто мною, но в такой неважной форме, что речь не имела успеха. В печати же она вышла очень красивой благодаря тому, что через день или два после банкета ко мне пришел, кажется, адъютант Радецкого и принес показать якобы записанную им мою речь, но, в сущности, им самим очень складно сочиненный перечень тех фактов, о которых я упоминал нескладно. Как Радецкий отвечал на тосты, не помню; но знаю, что он предложил тост за русского солдата. Вслед за этим публика начала вставать из-за стола. Достоевский шепнул мне, чтобы я потребовал тост за отцов и матерей русского солдата, т. е. за русский народ, и этим тостом обед закончился.

Перехожу теперь к жизни в петербургской лаборатории.

Обстановка была более чем скромная. Лаборатория состояла всего из двух комнат – одной для профессора, другой для ассистента; инструментальных пособий было очень мало, бюджет маленький, и ко всему этому первые два-три года, пока не выработались из новых

учеников два дельных ассистента, пришлось пробыть без надлежащего помощника. Тем не менее я работал здесь очень удачно и качественно сделал, в сущности, больше, чем в какой-либо из прежних лабораторий. Одной из работ завершились все мои прежние исследования – поглощением CO_2 соляными растворами, а другою – опыты с тормозящими влияниями в сфере нервной системы.

Чтобы не сидеть при первом обзаведении на новом месте без дела, я приехал в Петербург с готовым планом продолжать одесские опыты с растворами солей. С этой целью тотчас же по приезде в Петербург (в начале мая) мною был заказан известному превосходному механику[60] (фамилию его забыл) абсорпциометр, с тем чтобы он был готов к сентябрю и удовлетворял ряду выговоренных наперед условий. Определить при заказе даже приблизительную цену инструмента он отказался, ссылаясь на невозможность указать заранее, сколько аппарат возьмет у него времени, так как подобных инструментов он никогда не делал; но механик был известен как крайне добросовестный человек, и я уехал на лето в деревню без всяких предчувствий. В сентябре инструмент был готов и удовлетворял всем выговоренным условиям на славу; но когда мне была объявлена его стоимость – 500 руб., вместо ожидаемых 150–200, я обомлел, потому что плата равнялась двум месяцам жалованья, а я жил почти исключительно на жалованье. Тем не менее механик был прав, потому что воспитался на работе астрономических инструментов, требовавших чуть не математической точности, привык работать с величайшей тщательностью и справедливо ценил такую работу очень высоко. Плата, не совсем по карману, была, разумеется, вскоре забыта, и затем мне пришлось лишь радоваться инструменту, дававшему возможность подмечать с уверенностью более тонкие вещи, чем инструмент, с которым я работал в Одессе.

Выше, при описании одесской работы с кровью, было уже вскользь упомянуто, почему я от крови отступил в сторону соляных растворов, а теперь опишу весь ход мыслей, вызвавших это отступление, длившееся годы.

Как только опытами была установлена для сыворотки значительная зависимость химического поглощения от давления, я думал, что для объяснения факта достаточно будет проделать более подробно опыты моих предшественников в этой области (Ферне и Л. Мейера с Гейденгайном), и это было сделано; но полученные результаты факта не объяснили, и это обстоятельство заставило меня искать возможного ответа в поглощении CO_2 растворами других солей, способных связывать CO_2 химически. Я напал в своих исканиях на растворы уксуснокислого натра. Полученные с этой солью результаты были так неожиданны и интересны, что остановиться на этих опытах не было возможности, тем более что область, в которую меня бросила судьба, была никем еще не изведана. Нельзя было не идти вперед, и к уже собранному материалу прибавились опыты с тремя новыми солями. Когда же вслед за этим все опыты с семью различными солями были сопоставлены друг с другом, то оказалось, что в руках имеется уже достаточный материал для установления общего характера слабого химического поглощения CO_2 соляными растворами.

Здесь я мог бы, конечно, остановиться, потому что соли с сильными кислотами ничего не обещали для химического поглощения CO_2 кровью; но если принять во внимание, что абсорпциометрический опыт совсем еще не касался этой области и сулил много нового, то делается понятным, что остановиться я не мог. Опыты с кровью пошли своим чередом, а рядом с ними пошла разработка вопроса, нельзя ли привести растворы солей, индифферентных к CO_2, в определенную систему, подобно тому как это удалось для солей, растворы которых поглощают CO_2 химически.

Соответственно этому, прежде всего нужно было решить, как следует дозировать растворы солей для сравнения их друг с другом со стороны поглощательной способности. К

[60] Он был старшим механиком при Пулковской обсерватории, не ужился с новым директором оной и имел несчастье переселиться в Петербург, с тем чтобы завести тут мастерскую. Несмотря на то что это был мастер первой руки, дела пошли у него плохо, и он кончил трагически.

счастью, отыскивать такой критерий пришлось недолго[61]. Нужно брать для сравнения не равные, а эквивалентные количества солей в равных объемах растворов. При этом условии близкородственные соли в слабых и средней крепости растворах дают одинаковые коэффициенты поглощения CO_2.

Сравнение приготовленных таким образом растворов показало, что слабые и средней крепости растворы родственных солей поглощают равные количества CO_2.

При одинаковых основаниях сульфаты обладают наименьшей поглощательной способностью, за ними следуют хлориды, и больше всех поглощают нитраты.

При одинаковых кислотах меньше всего поглощают сода натрия, за ними идут соли калия, и больше всего поглощают соли аммония.

Такому распорядку солей с различной поглощательной способностью соответствует различная степень диссоциируемости их водой, или, в обратном смысле, различная степень жадности солей к воде; поэтому общим классификационным принципом для приведения солей в систему может быть только отношение их к воде.

Эти же результаты давали повод думать, что CO_2 поглощается собственно водой соляного раствора, а соль лишь ограничивает величину поглощения газа, притягивая в свою сторону воду.

На этом оборвалась моя одесская работа с солями и продолжалась она уже в Петербурге.

Во всех описанных доселе опытах растворителем соли служила одна вода, и роль ее в явлениях сводилась на то, что она приводит соль при растворении в состояние большей или меньшей степени диссоциации. Вопрос же, не играет ли роли в явлениях и качество растворителя, оставался незатронутым – недоставало опытов с растворами солей в других растворителях, кроме воды. Сначала хотелось взять спирт, так как коэффициенты растворения CO_2 в нем даны опытами Бунзена; но для опытов со спиртом пришлось бы многое переделывать в абсорпциометре, и я решил вместо спирта взять водный раствор соли.

Получился двойной результат: с одной стороны, было доказано, что одно и то же количество соли, будучи растворено до равных объемов в разных растворителях, дает растворы, коэффициенты которых относятся друг к другу, как коэффициенты растворителей, с другой стороны, получился определенный числовой закон изменения коэффициентов раствора с изменением его концентрации или разжижения по объемам.

После того как закон был установлен на нескольких растворах, его пришлось проверить на многих других примерах; здесь на опыте подтвердилась наконец мысль, возникшая в самом начале моей работы с соляными растворами, – что и соли минеральных кислот в растворах должны химически реагировать с CO_2.

Таким образом, абсорпциометрия связала воедино все вообще соли от явственно разлагаемых в растворах угольной кислотой до таких, которые считались индифферентными к этому газу, доказав, что реакция CO_2 с растворами их повсюду одинакова. Такой результат достигнут абсорпциометрией благодаря лишь тому, что она дает с верностью почти тысячные доли миллиграмма.

Работа с солями и CO_2 длилась в Петербурге, с двумя большими перерывами, лет десять и принесла мне, рядом со многими счастливыми минутами, очень много огорчений. Некоторые биологи упрекали меня в том, что я, физиолог, отдаю слишком много времени и сил решению нефизиологических вопросов; и я, конечно, сознавал основательность этих упреков, но оторваться от выяснявшейся постепенно заманчивой возможности найти ключ к обширному и никем еще не изведанному классу явлений не было сил. Два раза я прерывал опыты с CO_2, разрабатывая иные вопросы, но затем опять возвращался к ней. Благодаря этому в одном кружке даже сложилась такая стереотипная фраза: «И. М. Сеченов только и

---

[61] Благодаря тому, что я для первой пробы взял слабые растворы двух столь близких друг к другу солей, как $MgSO_4$ и $ZnSO_4$.

делает, что качает CO_2»[62].

Еще более огорчало меня, опять-таки до известной степени справедливое, отношение химиков к моей работе. Полученные мною результаты они признавали и считали их достойными внимания, но находили, что мне бы следовало подкрепить их опытами с другими газами, кроме вечной CO_2. Говорить это было легко, но каково было выполнить такие предложения. CO_2 была выбрана для опытов потому, что она поглощается соляными растворами в сравнительно больших количествах, а все другие сподручные газы – O_2, H, N – растворяются так слабо, что о них нечего было и думать.

Таким образом, труд многих лет терял его главное значение – ключа к обширному классу явлений. С этой занозой в сердце я оставался до конца моего пребывания в Петербурге; пробовал искать утешения за границей, в Лейпциге и Париже, но маленькое утешение нашел только у моего дорогого учителя Людвига. Ему я сообщил все свои прежние результаты с солями слабых кислот и новые с солями сильных; он понял, что достичь таких результатов можно было лишь долгим, упорным трудом, и, видимо, остался доволен сделанным. К Оствальду я пришел с рукописным резюме работы; давал ему, в присутствии нескольких молодых химиков, разъяснения по поводу этого резюме; возражений он не делал, рукопись для напечатания принял, но когда я заявил, что желал бы отдать дальнейшую разработку этих вопросов в руки более компетентных химиков, никто не выразил согласия. В Париж я ехал с мыслью напечатать петербургскую часть работы на французском языке, и это мне удалось при посредстве Дюкло. Но по отъезде я узнал из письма Мечникова, что работу считают важной, но находят, что она плохо написана. Позже, когда я уже был в Москве, мне удалось укрепить за работой то значение, которого я добивался; но об этом после.

В 1879 г., то ли я устал, или мне надоело «качать угольную кислоту», но только работа с ней была оставлена, и я занялся размышлениями, отчего бы могли задохнуться воздухоплаватели «Зенита» на высоте 1/3 атмосферы, т. е. занялся расчетом, в какой мере был недостаточен для дыхания приход O_2 в течение каждого дыхательного периода. Норму часового потребления O_2 – 30 г – я принял правильно, но, переводя величину дыхания в $см^3$/мин, сделал арифметическую ошибку. Понятно, что на основании такого расчета вывод был ошибочный – воздухоплаватели должны были задохнуться на высоте 1/2 атмосферы. Конечно, я был очень огорчен, когда из-за границы получил письмо от Цунтца, в котором указывалось на ошибку и ошибочность вывода; но это горе вскоре заменилось радостью. В следующем же году ошибка была заглажена с лихвой статьей «Ueb. d. O-Spannung in d. Lungenluft unt. versch Beding»[63], напечатанной в Пфлюгеровском Архиве (Bd. XXIII). Здесь при расчете нормального потребления O_2 были приняты во внимание три обстоятельства: то, что кровь черпает O_2 из воздуха легочных пузырьков, что потери кислорода возмещаются не кислородом же, а атмосферным воздухом и что из вдохнутого объема воздуха в легочные пузырьки попадает лишь более или менее значительная часть. Понятно, что дыхание на различных высотах, при неизменности потребления телом O_2 и при постоянном уменьшении количества притекающего в легкое воздуха ведет за собой постоянное уменьшение стационарного количества O_2 в легком, и как только последнее настолько понизится, что парциальное напряжение пойдет книзу от 20 мм, наступают условия для задыхания.

После того как промах был таким образом заглажен, естественно было распространить послужившие к этому рассуждения на другие составные части легочного воздуха. Таким образом, в Пфлюгеровском Архиве следующего года появилась статья под заглавием «Die Theorie der Lun gen luft zu sam men setzung»[64]. Здесь были разобраны условия, влияющие на

---

[62] Слово «качать» произошло из того, что при опытах мне приходилось выкачивать из жидкости газы, а потом качать в воздухе приемник с жидкостью.

[63] «Касательно содержания кислорода в легочном воздухе в различных условиях» (*нем.*).

[64] «Теория состава легочного воздуха» (*нем.*).

стационарные объемы легочных газов: вместимость легкого и объем вдыханий; сжатие и разрежение воздуха от 10 атм. до 0,4 атм.; состав вдыхаемого воздуха в процентах CO_2 и O_2, со включением случая дыхания чистым кислородом; колебания в потреблении O_2 и производстве CO_2 со включением случая такого колебания при мышечной работе.

Другой, еще более длинный, перерыв «качания CO_2» ушел на работу с электрическими явлениями на спинном и продолговатом мозгу лягушки. Работа эта, «Galvan. Ersch. an d. verlang. Marke d. Frosch»[65] появилась в Пфлюгеровском Архиве 1882 г. (Bd. XXVII). Здесь впервые были констатированы на выделенной из тела спинномозговой оси лягушки все три формы электродвигательных явлений, известные дотоле на нерве: покоящиеся токи, электротон и отрицательные колебания.

К этому же промежутку времени относятся опыты с усилением возбуждения нервов без усиления раздражающего тока приложением к нерву тройных электродов.

Упомяну еще о маленькой заметке касательно почечного кровообращения, напечатанной около того же времени.

Между очистителями крови от продуктов распада веществ легкие и почки стоят на первом плане: первые очищают кровь от газообразных веществ, а вторые – от растворимых в виде продуктов распада белковых веществ. Легкие по объему и местоположению устроены очень удобно для выполнения своей задачи: при очень большом объеме они лежат на пути всей протекающей по телу крови, а почки лежат в стороне главного ее пути с боку брюшной аорты, и так малы, что по ним, судя по объему, может протекать лишь очень незначительное количество крови. Сравнительно более выгодные условия в устройстве легких объясняются тем, что ими в сутки выводится средним числом 900 г вредного вещества (CO_2), а почками, если не считать безвредной воды, много-много 40 г. Но этим все-таки не исчерпывается вопрос, каким образом почки, будучи очистителями для всей крови, справляются с своей задачей при малом объеме и при невыгодном расположении в стороне от главного пути крови. Справляются же они очень исправно, насколько можно судить по быстроте, с какою выводятся ими из тела излишки воды[66].

Опытами Гейденгайна было доказано, что фактором, определяющим количество выводимой из крови воды, является не давление крови, а сравнительная быстрота кровяного тока по органу. В пользу этой мысли он привел особенно широкий просвет почечной артерии сравнительно с объемом органа, но оставил без надлежащего внимания самую главную особенность в снабжении почки кровью. По этой причине и появилась моя заметка. В ней было показано, что быстрота протекания через почку сравнительно больших количеств крови определяется, помимо краткости почечного пути, больше всего огромной разницей давления крови при входе ее в почку и при выходе из последней.

Одновременно с этой заметкой была напечатана мною другая – касательно выравнивания силы вертящихся индукционных токов, где я, по какому-то непостижимому помрачению ума, сделал такую ошибку в ходе токов по разветвленным проводникам, которую едва ли сделал бы гимназист, прослушавший элементарный курс физики. Ошибка эта порядочно-таки помучила меня. Хорошо еще, что она случилась много позже того, как

---

[65] «Гальванические явления в спинном мозгу лягушки» (*нем.*).

[66] Прямыми опытами доказано, что маленькие почки кролика способны в течение нескольких часов вывести более 1 литра воды, вводимой искусственно в виде физиологического раствора поваренной соли. В лейпцигской студенческой кнейпе, где я некогда обедал, во время опытов над собой с влиянием алкоголя на выделение мочевины, хозяин обыкновенно записывал на черной доске мелом имена вечерних посетителей и число выпитых каждым из них кружек пива. Раз на этой доске я не без удивления увидел фамилию «Motz» и рядом цифру 34. На мои расспросы хозяин сообщил, что в предшествующий вечер г. Мотц выпил с 6 ч. вечера до 12 ч. ночи 34 шопена пива без малейшего вреда для себя. Подобный же случай я видел в деревне у родных в день престольного праздника. Их кучер Семен выпил в короткое время чуть не ведро браги, отек и со страху пришел ко мне, отекший, как к доктору. Узнав, в чем дело, я его успокоил, и вечером отек прошел.

Дмитрий Андреевич забраковал меня в академию наук, иначе это был бы скандал, способный истерзать душу. По этой именно причине и было мной сказано выше, при описании моего академического фиаско, что я, к счастью, не попал в академию.

Итак, жизнь лаборатории Петербургского университета принесла мне много счастливых минут и немало горя, когда мне в конце чуть не десятилетней работы с CO_2 было сказано: «Все, что вы сделали, очень хорошо, но частный случай; докажите ваш закон вообще на других газах».

Из-за положительной невозможности выполнить предлагаемое, пребывание в петербургской лаборатории стало казаться мне бесцельным, даже неприятным, и я решил заменить профессорство более скромным приват-доцентством в Москве, где, по имевшимся сведениям, физиология не была в авантаже. С этой целью в 1888 г. я вышел в отставку и уехал прежде всего отдыхать на целый год в деревню к жене. Отсюда я списался с моей старой приятельницей Надеждой Федоровной Шнайдер. Она (тогда уже вдова) была замужем за профессором гистологии Бредихиным (братом известного астронома), имела связи в университете и могла доставить мне верные сведения, насколько мое намерение приват-доцентствовать в университете может не нравиться некоторым из профессоров. Получился удовлетворительный ответ, и я ранней весной съездил в Москву подать прошение о приват-доцентстве. Был у декана и ректора (физиолога Иванова), но не застал ни того, ни другого дома; прислуга ректора мне объявила, что он очень любит архиерейское служение и находится на таковом. По приезде в Москву я встретил дружеское участие со стороны молодого профессора сравнительной анатомии, милого, доброго Мих. Алекс. Мензбира. Он дал мне в своем небольшом помещении отдельную комнату, и здесь я прожил целый год.

Не располагая никакими инструментами, кроме абсорпциометра, ножа и индукционного снаряда, и не желая стеснять физиологическую лабораторию, я решил читать отдел физиологии, не требовавший сложных инструментальных пособий, именно центральную нервную систему. Плодом этого была написанная мною в Москве «Физиология нервных центров». Мою первую лекцию начальство не удостоило почему-то своим посещением; студентов на лекциях было довольно много, но гонорара я получил всего 60 рублей.

В этом же году я был приглашен читать лекции медикам в помещении их клуба по Большой Дмитровке. Слушателей было так много и гонорар так велик, что у меня родилась мысль устроить в Москве маленькую лабораторию. Попечитель обещал дать мне небольшое помещение, я же, по истечении академического года, поехал за границу покупать инструменты и побывал с этой целью в Париже. В этот именно приезд я и попытался через посредство Дюкло вызвать у французов интерес к моей работе с CO_2, о чем было упомянуто выше. На возвратном пути в Россию заехал в Лейпциг к моему дорогому учителю Людвигу. Ввиду неопределенности моего тогдашнего положения он без всякого вызова с моей стороны сказал мне, чтобы я имел в виду, что, пока он жив, в его лаборатории всегда будет комната для меня. Вернувшись в Россию, я узнал, с большим огорчением, что обещанного мне помещения нет, и почти решил в уме работать у Людвига за границей, а в Москве – читать лишь лекции. Доживаю я с этими мыслями конец лета в деревне у жены и вдруг получаю от попечителя телеграмму, в которой значится, что, по случаю неожиданной кончины профессора физиологии Шереметевского, медицинский факультет и он, попечитель, предлагают мне занять эту кафедру. Сознание, что на этом месте я могу принести медицинскому факультету больше пользы, чем приват-доцентством без рабочего угла, заставило меня принять предложение, и в последовавшие затем десять лет профессорства (1891–1901 гг.) не было повода раскаиваться в этом решении: товарищи по медицинскому факультету приняли меня радушно; в лаборатории, в лице моего ближайшего сотрудника Льва Захаровича Мороховца, я нашел такого дружелюбного товарища, что за все десять лет ни разу не чувствовал себя пришельцем в чужое гнездо; наконец, между учениками мне посчастливилось найти друга, М. Н. Шатерникова, работать с которым было для меня большим наслаждением, тем более что работали мы не без успеха. Дружеское и

крайне ценное для меня расположение я встретил еще в год приват-доцентства со стороны таких людей, как Климент Аркадьевич Тимирязев и проф. Столетов, а впоследствии сошелся еще с Александром Ивановичем Чупровым и Николаем Ильичем Стороженко. Нужно ли говорить, что при таких условиях жизнь протекала мирно и приятно. А впоследствии ко всему прочему присоединился переезд из Одессы в Москву друзей Умовых, Николая Алексеевича и Елены Леонардовны. Она и по сие время осталась для меня другом, непосредственно следующим за моим первым неизменным другом – женой.

Когда я получил кафедру физиологии, Л. 3. Мороховец состоял при ней, по новому уставу, прозектором, и первым моим делом было выхлопотать ему звание экстраординарного профессора. После этого нам уже было легко поделиться полюбовно нашими занятиями по кафедре, как двум равноправным членам. Он обладал большими хозяйственными талантами, я же лишен таковых; поэтому заведование институтом было предоставлено ему, тем более что он был устроителем физиологического института; мне же, как более опытному лектору, предоставлено было большее число лекций (мне четыре часа в неделю, ему два). В полное свое распоряжение я получил две комнаты в нижнем этаже и зажил в них приятнейшим образом с моим сотрудником Мих. Ник. Шатерниковым.

Немалое утешение принесло мне также знакомство с женскими курсами при обществе воспитательниц и учительниц, куда я был приглашен читать лекции. И здесь, как в дружной семье бестужевок времен Надежды Васильевны Стасовой, чувствовались та свобода и непринужденность, в связи с порядочностью, которые даются семье только образованностью ее членов, порядочностью преследуемых семьей целей и любовным отношением старших к младшим. Отрадно вспоминалось в этой среде былое; на лекциях перед моими глазами опять сидели бескорыстно стремившиеся к знанию бестужевки со столь знакомым мне напряженным вниманием на лицах. Не отсутствовало и подобие незабвенной Надежды Васильевны Стасовой в лице распорядительницы курсов Анны Николаевны Шереметевской, гораздо более молодой, чем Надежда Васильевна, но такой же доброй и энергичной на всякое доброе дело. Учреждение это имело благую цель – дать возможность пополнить образование учительствующим и готовящимся к учительству женщинам; оно не стоило правительству ни копейки, не требовало для слушательниц никаких прав и жило себе годы спокойно, но не пользовалось организованным правительственным надзором (т. е. коронным директором и его помощниками с жалованьем) и было поэтому закрыто, как только возникли высшие курсы Герье. Самоуправление у нас вообще не в моде.

Немало хороших минут, помимо дружеского общения с товарищами, было пережито и в лаборатории Московского университета. В первый же год моего профессорства кончились мои мучения из-за судьбы моей работы с CO2. Судьба словно сжалилась надо мной, послав мне в голову мысль испробовать, не оправдается ли найденный мною закон растворения газа[67] в объемно-разжижаемых соляных растворах, если вместо CO2 растворять в соляных растворах соль, индифферентную к соли растворителя. С этой целью я стал разыскивать в литературе этого вопроса случаев, где растворитель разжижался бы, как в моих опытах с CO2, в объемном отношении. Такой случай был найден, и мне оставалось только подвести данные его опытов под формулу, чтобы убедиться в приложимости закона к растворению солей в соляных растворах. Несколько позднее московский химик Яковкин подтвердил своими исследованиями этот результат в более общей форме[68]. Таким образом, я добился-таки до универсального ключа к обширному классу явлений.

До сих пор я работал всегда в одиночку; но как только получил в студенте Шатерникове возможного сотрудника, с милым нравом, хорошей головой и искусными

---

[67] Ueber die Löslichkelt von Salzgemischen im Wasser. Zeitschr. f. Physikal. Chem. Bd. VII, Heft 4.

[68] А. А. Яковкин. Распределение веществ между двумя растворителями в применении к изучению явлений химической статики. Ученые записки Моск. унив., отд. естеств. – историч., вып. 12, 1896.

руками, стал работать с ним. Первой нашей работой было устройство придатка к манометру моего абсорпциометра для быстрого, точного и повторительного анализа атмосферного воздуха[69].

Во второй общей работе план нового способа измерять на человеке объем выдохнутого воздуха и количество содержащейся в нем СО2 и некоторые детали аппарата принадлежат мне; все же остальное и приведение аппарата в действие было делом его рук[70].

Составляя план этого способа, я думал проверять главный результат опытов – высчитанный объем выдохнутого воздуха введением в самый конец системы газовых часов; но аппарат этот оказался не пригодным для измерения газовых объемов, проходящих через часы толчками. Поэтому способ оставался непроверенным до последней самостоятельной работы уже доктора Шатерникова, произведенной в 1903–1904 гг.[71]

Ему пришлось изучать дыхание газовыми смесями, большие запасы которых собирались в газометрах известной емкости, и через это получилась возможность сравнивать высчитанные из опыта объемы вдохнутого воздуха с объемами, действительно потребленными и известными из калибровки газометров. Таким образом, пригодность способа доказана Шатерниковым.

Вслед за тем как был устроен аппарат для дыхания человека в неподвижном положении, мы постарались придать ему портативную форму, дающую возможность измерять дыхание на ходу. Цель эта могла быть без труда достигнута при помощи двух легких станков, перекинутых посредством ремней через плечи с груди на спину. На грудном станке укреплялся поглощатель СО2, отводные плоские фляжки укреплялись на плечах, а снаряд с понижающимся вытечным отверстием был на спине. Описание аппарата и опыты с ним помещены в журнале Л. З. Мороховца «Physiologiste russe»[72]. Признаюсь откровенно, устройство портативной формы было для меня большой радостью, потому что исследование дыхания на ходу было всегда моей мечтой, казавшейся притом же невыполнимой.

Когда в конце 80-х годов прошлого века стали приходить из-за границы известия о сокращении времени рабочего дня до 8 часов без урона для производства, мне пришла в голову мысль разобраться в не затронутом дотоле вопросе, почему сердце и дыхательные мышцы могут работать без устали, а человек, даже привычный к ходьбе, не может пройти без утомления 40 верст привычного пути по совершенно ровной дороге и без всякого отягощения тела, т е. при условии, когда производимая работа не превышает работы за тот же срок (10 часов, считая 4 версты в час) сердца, т. е. левого желудочка. Причин этому, я думаю, две: более быстрый дренаж сердца артериальной кровью и большая продолжительность в нем фаз отдыхов работающей мышцы сравнительно с фазами деятельности. Для желудочка при 75 ударах в минуту отношение между ними как 3: 5, а при ходьбе обе фазы приблизительно равны. Разницы в сравнительной продолжительности фаз деятельности и покоя дают, при таком взгляде, возможность высчитать, как велик должен был бы быть дополнительный отдых к 10-часовой ходьбе для превращения ее в неутомляемую работу, если бы дренаж ножных мышц артериальною кровью был столь же быстр, как сердечный. 5 часов сплошной работы сердца, без утомления, потребовали бы 81/3 ч. отдыха; следовательно, к 10-часовой ходьбе для сглаживания утомления следовало бы

---

[69] M. Schaternikoff und J. Setschenow. Ein Beitrag zur Gasanalyse. Zeitschr. f. physik. Chemie, XVIII, 4, 1895.

[70] М. Н. Шатерников. Новый способ определения на человеке количества выдыхаемого воздуха и содержащейся в оном СО2. Москва, 1899.

[71] M. Schaternikoff, Zur Frage über die Abhängigkeit des O2 – Verbratiches won dem O2 – Gehalte in der einzuathmenden Luft. Engellmann‘s Archiv. Suppl Bd., 1904.

[72] Prof. J. Setschenov und Dr. M. Schaternikoff. Ein por-tativer Athmungsapparat. Vol. II, p. 44, 1900.

прибавить 31/3 ч. дополнительного отдыха, разумеется, сверх тех 8 часов сна, которые потребны и неусталому человеку.

Эти соображения были развиты мною в одной из публичных лекций и послужили впоследствии поводом к моей последней лабораторной работе – касательно неутомляемости рук при правильно периодической работе[73].

Опыты я делал на самом себе, и прежде всего мне пришлось приучить работающую руку двигаться с машинальной правильностью (по ударам метронома), без участия воли, так, как двигаются по привычке при ходьбе ноги. Затем был найден наиболее выгодный для рабочей руки темп движений и наибольший груз, при котором высоты его поднятия оставались в течение часов постоянными. Таким образом, мне удалось раз сделать без устали руки в течение непрерывной 4-часовой работы 4800 сокращений. Затем следовала серия опытов с большими грузами, дающими ясные признаки утомления. Здесь были испробованы различные виды отдыхов от утомления, и между ними, к немалому моему удивлению, наиболее действительным оказался не временный покой работающей руки, а покой ее, даже более кратковременный, связанный с работой другой руки. Таким образом, найденные факты пришлось отнести в категорию издавна известных пособников работы – оживленного настроения, песни, музыки и т. д.

Писательская деятельность за этот период времени выразилась тремя книгами: «Физиологией нервных центров», очерком рабочих движений и переводом с немецкого большого сочинения Ф. Ноордена.

В первой из них, имевшей целью собрать воедино с критикой все, что было сделано существенного в этой области, нового было в сущности, лишь введение в трактат – общий обзор нервных явлений, с лежащей в основе его мыслью, что в животном теле, как машине, все вообще нервные аппараты имеют значение автоматических регуляторов, вроде, например, предохранительного клапана Уатта в паровике. Мысль эта была проведена через всю область явлений – от рефлексов, обеспечивающих сохранность отдельных органов тела, до регулирования всех вообще передвижений тела в пространстве показаниями органов чувств. При таком взгляде равнозначность всех вообще изучаемых физиологией нервных явлений выступает с особенной яркостью: оказывается, что животная машина управляется двоякого рода импульсами: родящимися в самой машине изменениями в ее ходе и импульсами, приходящими извне. Соответственно этому в состав регулятора входит аппарат, воспринимающий импульс и дающий, так сказать, сигнал к деятельности двигательной части, производящей регуляцию.

Описать рабочие движения человека меня побудило то обстоятельство, что в физиологическом учении о деятельности мышц рабочая сторона мышечных движений оставляется в стороне. Соответственно этому в этом небольшом трактате общую часть составляет описание элемента рабочей машины, т. е. костного рычага, его осей вращения, суставных скреп, тяжей антагонистов и заправляющего движением нервного аппарата. В специальной же части, рядом с подробным описанием условий подвижности и устойчивости различных членов тела, иллюстрированы примерами работы, производимые укорочениями и удлинениями рук и ног, сгибанием и разгибанием туловища и проч. В этой работе есть, по моему мнению, немало фактов, достойных внимания, особенно со стороны расположения мышечных тяг в руках и ногах.

Переводом медицинской книги Ф. Ноордена я хотел выразить некоторым образом мою благодарность московскому медицинскому факультету, давшему мне приют на старости лет. В этой очень важной для клиницистов книге Ф. Ноорден имел великое терпение и большую заслугу выбрать из громадной литературы все имеющиеся данные касательно изучения обмена веществ на больном человеке. Ввиду того обстоятельства, что всестороннее изучение

[73] Prof. J. Setschenov. Zur Frage nach der Einwirkung sensi-tiver Reize auf die Muskelarbeit des Menschen. Vol. III, 1903.

обмена веществ, составляющее единственный рациональный путь к научному изучению болезненных состояний, возможно лишь для специалистов по медицинской химии и совершенно невозможно в тех маленьких химических кабинетах при клиниках, где производится с грехом пополам исследование извержений больных, я возымел следующую мысль, изложенную мною в предисловии к переводу: там, где клиники (как в Москве) скучены в одном месте, уничтожить находящиеся при них бесполезные химические кабинеты и учредить вместо них центральную лабораторию для всех клиник; устроить ее на всестороннее изучение обмена веществ и поставить во главе ее профессора медицинской химии с помощниками. Это учреждение представляло бы институт медицинской химии с двумя рабочими отделениями – для практических занятий студентов и для химико-клинических исследований, которые должны были бы производиться под руководством специалистов ассистентами клиник. Вскоре по напечатании книги мне пришлось ехать за границу; и я не преминул заехать во Франкфурт-на-М. к Ноордену посоветоваться с ним насчет своего плана. Он, конечно, одобрил его и посоветовал мне обратиться с ним письменно к немецким корифеям-клиницистам узнать их мнение. От берлинского профессора госпитальной клиники я получил очень сочувственный ответ; от Лейдена – несколько уклончивый с не идущим к делу описанием важности бактериологического исследования, а от мюнхенского клинициста не получил никакого ответа. План свой с отзывом Ноордена и обоих поименованных клинистов послал в министерство народного просвещения и ректору Одесского университета, физику Шведову, так как в Одессе строились в то время клиники.

Ответ от Шведова был сочувственный; тем не менее мой план канул в воду. Столь же неудачен был мой проект изменения экзаменов на степень доктора медицины, представленный в ответ на циркулярное предложение министерства обсудить этот вопрос в факультетах. Помню, что главные пункты этого проекта были следующие: аспирант на докторство должен был прежде написать и защищать диссертацию в свидетельство избранной им специальности и уже затем держать экзамен – общеобразовательный для всех вообще докторантов по физике, химии, анатомии, физиологии и микроскопии и специальный по избранному им предмету. Под этим проектом подписался один Федор Федорович Эрисманн; всеми остальными членами факультета он был отвергнут.

В заключение упомяну об одной из публичных лекций, читанных в Москве и напечатанных затем в «Вестнике Европы» под названием «Впечатления и действительность». Здесь разбирался вопрос, в какой мере совпадает видимое нами с действительностью, – вопрос, кажущийся с первого взгляда праздным, так как между чувствованием и действительностью лежит бездна. Однако к зрительным чувствованиям эта истина не вполне приложима, потому что они объективируются, т. е. выносятся наружу в виде определенной фигуры, определенной величины, определенного отстояния от глаза и с определенной окраской. Хотя мы получаем от внешних предметов лишь чувственные знаки, но ежеминутный опыт доказывает, что тождеству или сходству чувственных знаков всегда соответствует тождество или сходство произведших их внешних влияний. Если поэтому плоскостная фигура предмета и его образ на сетчатке сходны между собою и образ на сетчатке сходен с соответственным объективированным чувствованием, то последнее сходно с плоскостной фигурой предмета.

Работу с условиями неутомляемости и отдыха я делал, находясь уже в отставке и пользуясь своим прежним помещением в лаборатории благодаря истинно дружескому отношению ко мне директора оной Л. 3. Мороховца. Покончить преподавательскую деятельность побудили меня лета, сознание начавшейся отсталости в науке и убеждение, что старику не следует дожидаться времени, когда публика будет желать его ухода. Прошение об отставке было подано мною в начале академического года, и месяца три я ничего не знал о его судьбе. Думая, что оно застряло на какой-нибудь инстанции от канцелярии университета до канцелярии министра, я отправился с вопросом по этому поводу к ректору и узнал, к немалому моему удивлению, что дело мое может быть покончено в несколько дней: по звону

колокольчика явился чиновник из канцелярии, ректор поручил ему написать мой формуляр, и дело кончилось без дальнейших разговоров.

Но это не был еще конец моей преподавательской деятельности; настоящий конец был впереди.

В Москве при техническом обществе существуют так называемые Пречистенские курсы для рабочих, на которых читаются, между прочим, естественные науки, а также анатомия и физиология. Когда я впервые услышал об этом учреждении, то думал, что популяризация научных сведений доводится на этих курсах до крайних пределов, и был очень удивлен, что там читается не поддающаяся популяризации химия, притом таким серьезным человеком, как известный московский химик Михаил Иванович Коновалов (позднее профессор химии в Киевском политехникуме). Чтобы рассеять мои сомнения, я был приглашен слушателем на одну из его лекций. В жизнь мою я не слышал такого умелого приспособления серьезного чтения к умственным средствам аудитории. Курс, очевидно, был задуман и приводился в исполнение так, что всякий шаг вперед имел основание в одном из предшествующих ближайших. Делая такой шаг, лектор обращался к аудитории с вопросом, что послужило для этого шага основанием, и из аудитории каждый раз раздавался верный ответ. При этом нужно заметить, что лекция М. И. нисколько не отличалась по содержанию от лекций, читаемых в университетах студентам. Сильное впечатление получилось и от аудитории, слушавшей с какой-то жадностью простую и ясную речь своего профессора, подкреплявшуюся на каждом шагу опытом. Еще большим уважением я проникся к этой аудитории, когда узнал, что некоторые рабочие бегут на эти лекции, по окончании вечерних работ на фабрике, из-за Бутырской заставы; многие учатся иностранным языкам, некоторые даже английскому. Дай Бог сохраниться и расшириться этому симпатичному учреждению – прообразу народного университета.

В начале прошлого академического года меня пригласили читать на Пречистенских курсах анатомию и физиологию, и я принял предложение, думая, что, отсталый для чтения в университете, годен еще на чтение элементарных курсов, тем более что мой верный друг и сотрудник М. Н. Шатерников взялся ассистировать на этих лекциях. И моя аудитория производила на меня отрадное впечатление своим вниманием и явным пониманием читаемого. С октября по февраль я успел прочитать устройство и подвижность скелета с законами распределения скреп и тяг, анатомию и физиологию внешних покровов, органы пищеварения, кровообращения и дыхания; оставалось только прочесть работу мышц и общий обзор нервных явлений, с более подробным описанием зрения и слуха. Но лекции должны были прекратиться вследствие получения мною бумаги, которую привожу дословно.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ГОСПОДИНУ ИНСПЕКТОРУ ПРЕЧИСТЕНСКИХ КЛАССОВ
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Постоянная комиссия
по техническому образованию
Москва, 1904 г., февраля 9 дня
№ 523

Отношением г. директора народных училищ от 5 февраля 1904 года за № 814 профессор Иван Михайлович Сеченов не утвержден в должности преподавателя Пречистенских классов, и посему об освобождении его от занятий благоволите меня уведомить.

Председатель *К. Мазинг*

Так кончилась моя преподавательская деятельность.